

МАРГАРЕТ

Э·Т·В·У·Д

СЛЕПОЙ УБИЙЦА



18+

Экспансия чуда. Проза Маргарет Этвуд

Маргарет Этвуд

Слепой убийца

«ЭКСМО»

2000

УДК 821.111.31(71)
ББК 84(7Кан)-44

Этвуд М.

Слепой убийца / М. Этвуд — «Эксмо», 2000 — (Экспансия чуда.
Проза Маргарет Этвуд)

ISBN 978-5-699-92659-6

В действительности Маргарет Этвуд написала не один роман, а несколько, только вложила их друг в друга – как в матрешку. И чем сильнее раскручивается сюжет, тем больше диковинных элементов появляется. История двух сестер, Айрис и Лоры, кажется простой лишь на первый взгляд. Писательница не изменяет себе и с удивительным мастерством рассказывает о людях, которым есть что скрывать. Перед нами не обычный роман о судьбах женщин XX века, связанных невидимой нитью, а сама жизнь – с ее дразгами, проблемами и – чудесами. «Все на свете истории – про волков. Все, что стоит пересказывать. Остальное – сентиментальная чепуха», – напишет писательница, создавшая один из самых удивительных романов своего времени. Вот только морды у ее волков будут человеческие.

УДК 821.111.31(71)

ББК 84(7Кан)-44

ISBN 978-5-699-92659-6

© Этвуд М., 2000

© Эксмо, 2000

Содержание

I		5
	Мост	5
II		8
	Слепой убийца: Яйцо вкрутую	8
	Слепой убийца: Скамейка в парке	12
	Слепой убийца: Ковры	15
	Слепой убийца: Сердце, нарисованное губной помадой	18
III		23
	Церемония	23
	Серебряная шкатулка	28
	Пуговичная фабрика	32
	Авалон	37
	Приданое	43
	Граммофон	48
	Хлебный день	53
	Черные ленты	60
	Газировка	62
IV		65
	Слепой убийца: Кафе	65
	Слепой убийца: Шинелевое покрывало	68
	Слепой убийца: Посланец	72
	Слепой убийца: Кони ночи	77
	Слепой убийца: Бронзовый колокол	80
	Конец ознакомительного фрагмента.	81

Маргарет Этвуд Слепой убийца

Представьте: вот шах Ага Мохаммед-хан приказывает убить или ослепить жителей города Кермана – всех без исключения. Воины рьяно берутся за дело. Выстраивают горожан, взрослым рубят головы, детям выбивают глаза... Затем вереница ослепленных детей покидает город. Одни скитаются по округе и, заблудившись в пустыне, умирают от жажды. Другие добираются до поселений... и поют песни об истреблении жителей Кермана.

Рышард Капуцинский¹

В безбрежном море плыла я, не видя земли. Жестока была Танит, молитвы мои услышаны. О ты, утонувший в любви, не забудь обо мне. Надпись на карфагенской погребальной урне²

*Слово есть пламя за темным стеклом.
Шейла Уотсон³*

I

Мост

Через десять дней после окончания войны моя сестра Лора на автомобиле съехала с моста. Мост ремонтировали, и Лора свернула прямо на оградительный щит. Машина пролетела футов сто, по пути ломая едва оперенные зеленью верхушки деревьев, вспыхнула и скапала в мелкий ручей на дне оврага. Ее засыпало обломками снесенного парапета. От Лоры осталась лишь грудка обугленного хлама.

О несчастном случае мне сообщил полицейский: это был мой автомобиль, что полиция довольно быстро установила. Полицейский говорил почтительно: несомненно, знал, кто есть Ричард. Вероятно, колеса попали в трамвайные рельсы или тормоза подвели, объяснил полицейский и прибавил, что считает своим долгом сказать: два свидетеля катастрофы – юрист на пенсии и банковский кассир, оба заслуживающие доверия люди, – клянутся, что видели все от начала до конца. По их словам, Лора нарочно резко вывернула руль и нырнула с моста невозмутимо, точно шагнула с тротуара. Свидетели разглядели ее руки на руле: Лора была в белых перчатках.

Не в тормозах дело, думала я. У нее были причины. Как водится, не те, что у других. В этом смысле она была абсолютно беспощадна.

– Полагаю, вам нужно, чтобы ее опознали, – сказала я. – Постараюсь приехать побыстрее. – Мой спокойный голос звучал как бы издали.

На самом деле я с трудом произносила слова: губы онемели, лицо свело от боли. Как после дантиста. Я была в ярости – из-за того, что Лора натворила, и еще из-за полицейского, намекавшего, что Лора и впрямь это натворила. Горячий ветер трепал мне голову, волосы взлетали и вихрились, расплываясь в нем, будто чернила в воде.

– Боюсь, будет расследование, миссис Гриффен, – сказал полицейский.

– Понимаю, – отозвалась я. – Но это несчастный случай. Моя сестра вообще неважно водила машину.

Я представляла себе нежный овал Лориного лица, аккуратно собранные на затылке волосы, простое платье с круглым воротничком, тусклое какое-то – темно-синее, стальное или болотное, как больничный коридор. Тюремные цвета: вряд ли Лора выбирала сама – ее в них словно заперли. Серьезная полуулыбка, удивленно приподнятые брови – словно восхищается пейзажем.

Белые перчатки – жест Понтия Пилата. Смыла меня с пальцев. Смыла всех нас.

О чем она думала, когда автомобиль оторвался от моста и серебристой стрекозой сверкнул в лучах полуденного солнца, на бездыханный миг застыв перед падением? Об Алексе, о Ричарде, о вероломстве или о нашем отце и его крахе? А может, о Боге и своей роковой трехсторонней сделке? Или о стопке дешевых школьных тетрадей, которые накануне утром спрятала в ящике с моими чулками, зная, что только я смогу их обнаружить?

Когда полицейский ушел, я пошла наверх переодеться. В морг нужны перчатки и шляпка с вуалью. Не показывать глаз. Могут явиться репортеры. Нужно вызвать такси. И предупредить Ричарда: он, конечно, захочет подготовить заявление о том, как мы скорбим. Я пошла в гардеробную: понадобится черное и носовой платок.

Я выдвинула ящик, увидела тетради. Развязала стянутую крест-накрест бечевку. Заметила, что стучу зубами и трясусь от холода. Видимо, шок, решила я.

А потом я вспомнила Рини из нашего детства. Это она лечила наши порезы и царапины, перевязывала ранки. Мама отдыхала или где-то творила добрые дела, но Рини всегда была рядом. Поднимала нас и усаживала прямо на белый эмалированный кухонный стол, рядом с тестом для пирога, которое месила, или цыпленком, которого разделявала, или рыбой, которую потрошила, а чтоб мы не болтали, давала по кусочку коричневого сахара.

Скажи, где болит, спрашивала она. *Ну-ка перестань выть. Успокойся и покажи, где болит.*

Но некоторые не могут показать, где болит. Не могут успокоиться. Даже перестать выть не могут.

«Торонто стар», 26 мая 1945 года
ВОЗНИКАЮТ ВОПРОСЫ
В СВЯЗИ С АВТОКАТАСТРОФЕЙ
Специально для «Стар»

В ходе расследования установлено, что автокатастрофа, произошедшая на прошлой неделе на авеню Сен-Клер, была трагической случайностью. Мисс Лора Чейз, 25 лет, ехала по эстакаде на запад, и ее автомобиль неожиданно занесло; он врезался в оградительные ремонтные щиты, рухнул в овраг и загорелся. Мисс Чейз погибла сразу же. Ее сестра, миссис Ричард Э. Гриффен, жена известного предпринимателя, сообщила, что мисс Чейз страдала от сильных головных болей, которые сказывались на зрении. Миссис Гриффен категорически опровергла возможность пребывания мисс Чейз в состоянии алкогольного опьянения, заявив, что сестра вообще не употребляла алкоголя.

Полиция предполагает, что колесо угодило в трамвайную колею и это послужило дополнительной причиной аварии. В связи с этим возник вопрос: достаточно ли городские власти заботятся о безопасности горожан? Однако после заключения эксперта, главного инженера муниципалитета Гордона Перкинса, этот вопрос был снят.

После несчастного случая вновь звучат претензии к состоянию трамвайных путей на данном участке дороги. Мистер Херб Т. Джолифф, представляющий местных налогоплательщиков, в интервью «Стар» заявил,

что это не первый несчастный случай, вызванный пренебрежением к трамвайным путям. Городским властям следует над этим задуматься.

Лора Чейз. СЛЕПОЙ УБИЙЦА

Нью-Йорк. Рейнголд, Джейнз & Моро, 1947

Пролог: Многолетние растения для сада камней

У нее только одна его фотография. В конверте из оберточной бумаги, сверху написано «вырезки». Она спрятала конверт в книгу «Многолетние растения для сада камней», куда никто никогда не заглядывает.

Она бережет фотографию: кроме этого снимка, у нее мало что осталось. Черно-белое фото, снятое громоздким довоенным аппаратом со вспышкой: объектив на гармошке, добротный кожаный футляр с ремешками и сложными застежками напоминает намордник. Фотография запечатлела их на пикнике – ее и этого мужчину. На обороте так и написано карандашом: «пикник», ни ее имени, ни его – просто «пикник». Имена ей и так известны – зачем писать?

Они сидят под деревом – под яблоней, что ли; она тогда не обратила внимания. На ней белая блузка, рукава засучены по локоть, широкая юбка подоткнута под колени. Должно быть, дул ветерок – блузка на ней раздувается, а может, и не раздувается; может, липнет; может, было жарко. Да, жарко. Держа руку над фотографией, она и теперь чувствует жар – так раскалившийся днем камень и ночью хранит тепло.

На мужчине светлая шляпа, надвинута на лоб, лицо в тени. Он загорелый – темнее, чем она. Она улыбается вполоборота к нему – так она никому с тех пор не улыбалась. На фото она очень молода – хотя в то время не считала себя слишком молодой. Мужчина тоже улыбается – белизна зубов, точно вспышка чиркнувшей спички, – но поднял руку, словно в шутку защищает или желает укрыться от объектива того, кто стоит рядом, снимая этот кадр, а может, хочет защититься от тех, кто из будущего станет глазеть на фото, изучая черты этого лица через квадратное освещенное оконце из глянцевой бумаги. Будто защищает от нее. Или защищает ее. В защитно вытянутой руке догорает сигарета.

Оставшись одна, она достает конверт и осторожно вытаскивает фотографию из кипы газетных вырезок. Кладет на стол и пристально всматривается, словно смотрит в колодец или пруд, ища за своим отражением то, что уронила или потеряла – чего уже не достать; недоступное, но различимое, оно драгоценным камнем мерцает на песке. Она разглядывает каждую деталь. Его пальцы, обесцвеченные то ли вспышкой, то ли солнечным светом; складки одежды; листву и крохотные шарики на ветках – так яблоки или нет? На переднем плане – жухлая трава. Тогда было сухо, и трава пожелтела.

У края фотографии – сначала и не заметишь – еще рука, срезанная до предела, отхваченная по запястье, – лежит на лужайке будто сама по себе. Выброшенная.

На ярком небе размытые облачка – словно пятна от мороженого. Потемневшие от табака пальцы. Вдали сверкает вода. Теперь утонуло все.

Утонуло, но сияет.

II

Слепой убийца: Яйцо вкрутую

Так что ты хочешь, спрашивает он. Смокинги и страсти или кораблекрушения у пустынных берегов? Выбирай: джунгли, тропические острова, горы. Или другое измерение – тут я дока.

Другое измерение? Да ну?

Не смейся, место не хуже иных. Там все, что хочешь, случается. Космические корабли, обтягивающие скафандры, лучевое оружие, марсиане с телами гигантских осьминогов и все такое прочее.

Сам выбирай, говорит она. Ты же профи. Может, пустыня? Давно туда хочу. С оазисом, конечно. Финиковые пальмы не помешают. Она отламывает от сэндвича корку. Корки она не любит.

В пустыне не разгуляешься. Ничего интересного, придется добавить гробниц. И еще обнаженных женщин, что мертвы уже три тысячи лет, женщин с гибкими, пышными телами, рубиновыми устами, лазурным кружевом растрепанных волос и глазами, точно полные змей бездонные колодцы. Но, по-моему, не удастся все это всучить тебе. Ужастики – не твой стиль.

Как знать. Может, мне и понравится.

Сомневаюсь. Это для толпы. Зато такое любят изображать на обложках – эти дамы обвиняют парня, и отогнать их можно только ружейным прикладом.

А можно другое измерение, а еще гробницы и покойницы?

Трудновато, но я постараюсь. Можно еще закинуть жертвенных дев, в прозрачных одеждах, с металлическими нагрудниками и серебряными цепочками на лодыжках. И стаю голодных волков в придачу.

Ты, я вижу, ни перед чем не остановишься.

А ты предпочитаешь смокинги? Океанские лайнеры, белоснежное белье, целование ручек и лицемерный треп?

Нет. Ладно. Поступай как знаешь.

Сигарету?

Она качает головой: нет, не хочу. Он чиркает спичкой по ногтю и закуривает.

Обожжешься, говорит она.

До сих пор не обжигался.

Она смотрит на засученный рукав его рубашки – белой или бледно-голубой, переводит взгляд на запястье, на загорелую руку. Он светится – будто отражает солнце. Почему никто не смотрит? Он слишком бросается в глаза, ему нельзя быть здесь, под открытым небом. Люди вокруг сидят на траве или полулежат – одеты в светлое, у них тоже пикник. Все очень пристойно. Но ей кажется, будто они одни, будто яблоня – шатер, а не дерево. Будто вокруг них провели мелом круг. И они внутри невидимы.

Измерение, значит. С гробницами, девами и волками. Только в рассрочку. Согласна?

В рассрочку?

Не все сразу. Как мебель.

Она смеется.

Нет, серьезно. Не скупердяйничай. Это ж не на один день. Придется встречаться снова.

Она колеблется. Потом соглашается. Ладно. Если удастся. Если у меня получится.

Вот и хорошо, говорит он. А теперь я буду думать. Он старается говорить непринужденно. Настойчивость может ее отпугнуть.

На планете – как ее там? Нет, не на Сатурне – слишком близко. На планете Цикрон, что в другом измерении, простирается каменистая равнина. К северу – лиловый океан. К западу – горная цепь; говорят, после захода солнца там рыщут мертвые алчные обитательницы тамошних полуразрушенных гробниц. Вот видишь, с гробницами я поторопился.

Ценю, говорит она.

Всегда верен слову. К югу – раскаленные пески, а к востоку – глубокие долины, что когда-то, возможно, были руслами рек.

Наверное, каналы, как на Марсе?

Да, каналы и что угодно. Множество следов древних, когда-то высокоразвитых цивилизаций, но теперь здесь бродят лишь примитивные кочевники. Посреди равнины каменная насыпь. Земля вокруг сухая, лишь колючий кустарник кое-где. Не совсем пустыня, но похоже. А сэндвич с сыром еще есть?

Она роется в бумажном пакете. Сэндвича нет, говорит она, есть яйцо вкрутую. Она никогда не была так счастлива. Все опять ново, все только случится.

То, что доктор прописал, говорит он. С собой стихов диван, в бутылке лимонад и яйцо вкрутую. Он катает яйцо в ладонях, разбивает, чистит. Она не спускает глаз с его рта, челюсти, зубов.

Денек среди развалин. Городского парка, говорит она. Вот соль.

Спасибо. Все-то ты помнишь.

На бесплодную равнину никто не претендовал, продолжает он. Точнее, на нее имели виды пять разных племен, но ни у одного не хватало сил обставить остальных. Все они время от времени натывались на каменную насыпь: пасли в округе *фалков* – голубых, похожих на овец существ злобного нрава – или провозили мимо всякие ерундовые товары на вьючных животных вроде трехглазых верблюдов.

Каждое племя называло насыпь по-своему: Логово Летучих Змей, Груда Камней, Жилище Воющих Матерей, Врата Забвения и Хранилище Обглоданных Костей. Все племена рассказывали об этой насыпи почти одно и то же. Под камнями покоится король, говорили они, безымянный король. Там же погребены развалины великолепного города, которым этот король правил. Враги разрушили город, а короля схватили и триумфально повесили на финиковой пальме. Когда взошла луна, его сняли с дерева и похоронили, а насыпью обозначили место. Остальных жителей города тоже убили. Всех до единого – мужчин, женщин, детей, младенцев, даже скот. Зарезали, изрубили на куски. Ничего живого не осталось.

Ужас.

Куда лопатой ни ткнешь, вскрыется какой-нибудь ужас. Нашему ремеслу полезно, мы процветаем на костях – какие же без них истории. Есть еще лимонад?

Нет, отвечает она. Все выпили. Продолжай.

Победители стерли из памяти даже бывшее название города. Вот почему, говорят рассказчики, теперь это место носит имя своей гибели. И груда камней – знак сознательного поминовения и сознательного забвения. У них там любят парадоксы. Каждое из пяти племен настаивает, что именно из него вышли победоносные захватчики. Каждое с удовольствием вспоминает о кровавой резне. И верит, что все произошло с благословения их богов как справедливое возмездие за греховную жизнь горожан. Зло очищается кровью, говорят они. В тот день кровь лилась рекой – должно быть, потом там стало очень чисто.

Каждый пастух или торговец, оказавшись рядом с насыпью, кладет туда еще один камень. Это старый обычай – так делают, чтобы почтить память мертвых, дорогих усопших, но поскольку никто не знает, кто на самом деле покоится под насыпью, камни здесь оставляют на всякий случай. Оправдываются, говорят, что трагедия произошла по велению их бога, и значит, оставляя камни, они чтят его волю.

По одной версии, город все-таки не разрушили. Благодаря магии, известной только королю, город и его жители спаслись – вместо них зарезали и сожгли призраков. А город стал совсем крошечным и перенесся в пещеру под камнями. Ничего не изменилось – те же дворцы, и цветущие сады, и люди – они ростом с муравьев, но живут прежней жизнью: носят костюмчики, устраивают банкетки, рассказывают друг другу историйки, распевают песенки.

Король понимает, что произошло, и мучается кошмарами, но остальные ничего не знают. Не знают, что стали крошечными. Не знают, что считаются мертвыми. Даже не знают, что спаслись. Скала над головами – будто небо; сквозь щелку меж камнями сочится свет, и они думают, что это солнце.

Яблоня шелестит. Она смотрит на небо, затем на часы. Я замерзла, говорит она. И я опаздываю. Ты не мог бы уничтожить улики? Она собирает яичную скорлупу, комкает оберточную бумагу.

Ты ведь не торопишься? Здесь не холодно.

От воды тянет, говорит она. Наверное, ветер переменился. Она наклоняется, встает.

Не уходи пока, говорит он слишком поспешно.

Уже пора. Меня будут искать. Если опоздаю, захотят узнать, где я была.

Она оправляет юбку, обхватывает себя руками, поворачивается, а яблоня смотрит ей вслед зелеными яблочками.

«Глоуб энд мейл», 4 июня 1947 года

ГРИФФЕН ОБНАРУЖЕН НА ЯХТЕ

Специально для «Глоуб энд мейл»

После необъяснимого отсутствия в течение нескольких дней тело промышленника Ричарда Э. Гриффена, 47 лет, который считался наиболее вероятным кандидатом от прогрессивных консерваторов в торонтском райдинге святого Давида, было обнаружено неподалеку от летней резиденции Авалон в Порт-Тикондероге, где мистер Гриффен отдыхал. Его тело нашли на яхте «Наяда», пришвартованной к частной пристани на реке Жог. Смерть вызвана кровоизлиянием в мозг. Полиция сообщает, что следов насилия не обнаружено.

Мистер Гриффен, глава коммерческой империи, объединившей предприятия легкой промышленности, производство текстиля и одежды, многого добился и заслужил благодарность за свой вклад в снабжение союзных войск обмундированием и элементами вооружения во время войны. Он был частым гостем на ключевых конференциях в Пагуоше в доме промышленника Сайруса Итона⁴, а также центральной фигурой в Имперском и Гранитном клубах. Мистер Гриффен прекрасно играл в гольф и был завсегдатаем Канадского королевского яхт-клуба. Премьер-министр по телефону из своей частной резиденции Кингсмир сказал: «Мистер Гриффен был одним из самых компетентных наших сограждан. Мы глубоко скорбим о его смерти».

Мистер Гриффен приходился деверем покойной Лоре Чейз, чей первый и единственный роман был посмертно опубликован весной нынешнего года. У мистера Гриффена осталась сестра, миссис Унифред (Гриффен) Прайор,

⁴ Первая из серии Пагуошских конференций состоялась спустя десять лет после описываемых событий, в 1957 г.; в ней приняли участие ученые и общественные деятели, выступавшие за мир, разоружение и международную безопасность. Конференция была организована при активной поддержке американского промышленника и канадского уроженца Сайруса Итона (1883–1979).

известная общественная деятельница; жена, миссис Айрис (Чейз) Гриффен, и десятилетняя дочь Эме. Заупокойная служба состоится в среду, в церкви Святого апостола Симона в Торонто.

Слепой убийца: Скамейка в парке

А почему на Цикроне жили люди? Ну, такие же, как мы. Это же другое измерение, там же, наверное, говорящие ящерицы какие-нибудь живут?

Только в дешевых журналах. Это выдумки. На самом деле все обстояло вот как: цикрониты колонизировали Землю, научившись перемещаться из одного измерения в другое, но это произошло спустя несколько тысячелетий после той эпохи, о которой идет речь. У нас они объявились восемь тысяч лет назад. Привезли семена, и мы теперь едим яблоки и апельсины, не говоря уж о бананах. Посмотри на банан – он же явно с другой планеты. Они и животных прихватили – лошадей, собак, овец и прочую живность. Это цикрониты построили Атлантиду. Но они были слишком умны – это их и сгубило. А мы произошли от горстки уцелевших.

Вот оно что, говорит она. Это все объясняет. Как удачно.

Сойдет на крайний случай. Что до прочих особенностей Цикрона, то на нем семь морей, пять лун и три солнца – разных цветов и яркости.

Каких цветов? Шоколадное, ванильное, клубничное?

Ты надо мной смеешься.

Прости. Она наклоняется к нему. Я тебя слушаю. Видишь?

Он продолжает: до своей гибели город – будем звать его прежним именем, Сакиэль-Норн, что приблизительно переводится как Жемчужина Судьбы, – считался чудом света. Даже люди, утверждавшие, что именно их предки его уничтожили, с наслаждением описывали его красоту. Природные ключи били из резных фонтанов в крытых дворах и садах многочисленных дворцов. Город утопал в цветах, воздух звенел от пения птиц. Вокруг простирались роскошные луга, где паслись стада тучных *гнарров*; фруктовые сады и могучие леса, еще не вырубленные торговцами и не сожженные злобными недругами. На месте пересохших оврагов еще текли реки; поля вокруг города орошались каналами; а земля была такая плодородная, что колосья были целых три дюйма диаметром.

Аристократов в Сакиэль-Норне звали снилфардами. Они были искусными резчиками по металлу и изобретателями хитроумной механики, секреты которой тщательно охраняли. К тому времени они уже успели изобрести часы, арбалет и ручной насос, но до двигателя внутреннего сгорания пока не доросли и в качестве транспортного средства использовали скот.

Мужчины-снилфарды носили тканые платиновые маски, что воспроизводили мимику, но скрывали истинные эмоции. Женщины закрывали лицо шелковистыми покрывалами, которые выделялись из коконов бабочки *чэз*. Прятать лицо, не будучи снилфардом, запрещалось под страхом смерти: непроницаемость и увертки – прерогатива знати. Снилфарды роскошно одевались, знали толк в музыке и сами играли на разных инструментах, демонстрируя вкус и мастерство. Они предавались дворцовым интригам, устраивали пышные празднества и изысканно наставляли друг друга рога. Иногда их романы приводили к дуэлям, но чаще мужья притворялись, что ничего не знают.

Мелкие фермеры, батраки и рабы звались йгниродами. Они носили потрепанные серые туники: одно голое плечо у мужчин, одна грудь – у женщин (которые, само собой, были легкой добычей для мужчин-снилфардов). Йгнироды возмущались своей участью, но скрывали это, притворяясь недалекими. Изредка они поднимали восстания, которые жестоко подавлялись. Самыми бесправными были рабы: при желании их можно было продать, купить или убить. Закон запрещал им читать, но у рабов имелся секретный шифр, и они царапали послания камнями в грязи. Снилфарды на рабах пахали.

Если снилфард разорялся, его переводили в йгнироды. Он мог избежать такой участи, продав жену или детей и выплатив долг. Гораздо реже йгнирод добивался положения снил-

фарда: наверх идти труднее, чем вниз; даже если ему удавалось собрать необходимую сумму и найти невесту из снилфардов для себя или сына, требовалось еще кое-кого подкупить, и порой проходило немало времени, прежде чем бывшего йгнирода принимали в высшее общество.

В тебе просыпается большевик, говорит она. Я знала, что это рано или поздно случится.

Совсем наоборот. Эта культура – из древней Месопотамии. Законы Хаммурапи⁵, законы хеттов и так далее. Отчасти, во всяком случае. К примеру, насчет покрывал и продажи жен. Могу назвать главу и стих.

Главу и стих не сегодня, пожалуйста, говорит она. У меня нет сил. Я слишком размякла. Скипаю.

Стоит август. Жара невыносимая. Влажность обволакивает их невидимым туманом. Четыре часа, свет – словно топленое масло. Они сидят на скамейке в парке, не слишком близко друг к другу; над ними сникший клен, под ногами потрескавшаяся земля, вокруг увядшая трава. Воробьи долбят сухую хлебную корку, валяется скомканная бумага. Не лучшее место на свете. Из питьевого фонтанчика сочится вода; подле него о чем-то шепчутся трое грязных ребятешек – девочка в пляжном костюме и два мальчика в шортах.

На ней лимонное платье; руки с нежным золотистым пушком обнажены по локоть. Она сняла легкие перчатки, нервно их комкает. Его не смущает эта нервозность – приятно думать, что он уже чего-то ей стоит. На ней соломенная шляпка с круглыми полями, как у школьницы; волосы убраны назад – выбилась влажная прядь. Принято отрезать пряди волос, хранить, носить в медальонах; мужчины держат их у сердца. Зачем? Раньше он не понимал.

А где ты сейчас должна быть, спрашивает он.

В магазине. Видишь – сумка. Я купила чулки, хорошие, из тончайшего шелка. Будто ничего и не носишь. Она слегка улыбается. У меня всего пятнадцать минут.

Она уронила перчатку – та лежит у ее ног. Он не сводит с перчатки глаз. Если она не поднимет, забудет, он завладеет перчаткой. Оставшись один, будет вдыхать ее запах.

Когда я тебя увижу, спрашивает он. Порыв раскаленного ветра шевелит листья, сквозь них пробивается свет; пыльца вокруг – золотистым облаком. Вообще-то просто пыль.

Ты сейчас видишь, говорит она.

Перестань, говорит он. Скажи когда. Кожа в вырезе платья поблескивает капельками пота.

Еще не знаю, отвечает она. И смотрит через плечо, оглядывает парк.

Никого здесь нет, говорит он. Никаких твоих знакомых.

Кто знает, когда появятся, возражает она. Кто знает, с кем я знакома.

Тебе нужно завести собаку, говорит он.

Она смеется. Собаку? Зачем?

Тогда у тебя будет повод. Ты могла бы ее выгуливать. Ее и меня.

Собака будет к тебе ревновать, замечает она. А ты будешь думать, что я больше люблю собаку.

Но ты ведь не будешь любить ее больше, говорит он. Правда?

Она широко раскрывает глаза. Это еще почему?

Собаки не разговаривают, отвечает он.

«Торонто стар», 25 августа 1975 года
ПЛЕМЯННИЦА ЗНАМЕНИТОЙ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ
ПОГИБЛА ПРИ ПАДЕНИИ
Специально для «Стар»

⁵ Законы Хаммурапи (ок. 1760 года до н. э.) – свод законов Вавилонии, памятник древневосточного рабовладельческого права. Был найден при раскопках Сузы в 1901–1902 гг., хранится в Лувре.

Эме Гриффен, 38 лет, дочь известного промышленника, покойного Ричарда Э. Гриффена и племянница выдающейся писательницы Лоры Чейз, в среду обнаружена мертвой в своей квартире на Чёрч-стрит. В результате падения она сломала шею и была мертва уже по меньшей мере сутки. Соседей, Джоса и Беатрис Келли, оповестила четырехлетняя дочь мисс Гриффен Сабрина, которая часто приходила к супругам Келли поесть, когда матери подолгу не бывало дома.

По слухам, мисс Гриффен уже давно боролась со своим пристрастием к алкоголю и наркотикам и неоднократно лечилась в клинике. На время расследования ее дочь передали на попечение миссис Уинифред Прайор, ее двоюродной бабушке. Нашему корреспонденту не удалось дозвониться ни до миссис Прайор, ни до матери Эме, миссис Айрис Гриффен из Порт-Тикондероги.

Этот несчастный случай в очередной раз подтверждает небрежность работы наших социальных служб и показывает, как важно совершенствовать законодательство, чтобы уберечь детей, принадлежащих к группам риска.

Слепой убийца: Ковры

В трубке жужжит и потрескивает. Раскаты грома или подслушивают? Но он звонит из автомата, его не выследят.

Ты где, спрашивает она. Сюда нельзя звонить.

Ему не слышно, как она дышит, не слышно ее дыхания. Ему хочется, чтобы она приложила трубку к горлу, но он не будет просить, пока не будет. Я недалеко. В двух кварталах. Могу прийти в парк – в маленький, где солнечные часы.

Ох, я, пожалуй, не...

Просто улизни. Скажи, что хочешь подышать воздухом. Он ждет.

Попытаюсь.

У входа в парк два четырехгранных каменных столба – наверху обрезаны наискось. На вид египетские. Никаких, впрочем, триумфальных надписей, никаких барельефов со скованными коленопреклоненными врагами. Только: «Не околачиваться без дела» и «Держите собак на поводке».

Иди сюда, говорит он. Подальше от света.

Я ненадолго.

Знаю. Иди сюда. Он берет ее за руку и ведет за собой; она дрожит, точно провода на ветру.

Сюда, говорит он. Здесь нас никто не увидит. Ни одна старушка с пуделем.

И ни один полицейский с дубинкой, прибавляет она со смешком. Сквозь листву пробивается свет фонаря, и белки ее глаз мерцают. Не надо было приходить, говорит она. Слишком рискованно.

Каменная скамья забила в кусты. Он накидывает ей на плечи пиджак. Старый твид, старый табак, отдает паленым. И чуточку солью. Его кожа соприкасалась с этой тканью, а теперь и ее тоже.

Вот так, сейчас согреешься. А теперь нарушим предписание. Станем тут околачиваться.

А собаки на поводке?

И это нарушим. Он не обнимает ее, хотя знает, что она этого хочет. Она ждет этого прикосновения, ощущая его заранее, как птицы – надвигающуюся тень. Он закуривает. Предлагает ей; на этот раз она соглашается. Краткая вспышка меж ладонями. Красные кончики пальцев.

Она думает: будь пламя посильнее, видны были бы кости. Как рентген. Мы – как легкая дымка, окрашенная водичка. Вода поступает, как ей нравится. Всегда течет вниз. Дым заполняет ей горло.

А теперь я расскажу про детей, говорит он.

Про детей? Каких еще детей?

Очередной взнос. Про Цикрон и Сакиэль-Норн.

Ах да.

В рассказе будут дети.

О детях речи не шло.

Дети рабов. Без них не обойтись. Иначе истории не выйдет.

Не уверена, что мне хочется про детей.

Ты всегда можешь меня остановить. Тебя никто не заставляет. Вы свободны, как говорят полицейские, если повезет. Он старается говорить спокойно. Она не отодвигается.

Он рассказывает: ныне Сакиэль-Норн – груда камней, но прежде был процветающим центром торговли. Он стоял на перепутье трех дорог – с востока, запада и юга. С севера широкий канал соединял город с морем – там находился хорошо укрепленный порт. Теперь не оста-

лось и следа от жилищ и крепостных стен: когда город пал, враги и просто кто попало растащили обтесанные каменные глыбы по домам – на загоны для скота, на желоба для воды и на топорные укрепления; а ветер и волны похоронили остатки под песком.

Канал и порт построили рабы, что неудивительно: благодаря их труду Сакиэль-Норн обрел великолепие и мощь. Но еще город славился искусством ремесленников, особенно ткачей. Секрет их красок тщательно охранялся: ткани мерцали жидким медом, лиловой виноградной мякотью или мерцающей на солнце бычьей кровью. Изящные покрывала – будто паутина, а ковры так изысканны и мягки, что, казалось, ступаешь по воздуху – по воздуху, который подобен цветущему лугу с ручейком.

Очень поэтично, говорит она. Я поражена.

Считай, что это универмаг, говорит он. Если вдуматься, всего лишь предметы роскоши. Не так уж и поэтично.

Ковры ткали рабы – и всегда дети: лишь детские пальчики подходят для такой тонкой работы. Однако от непрерывного напряжения глаз дети к восьми-деяти годам слепли; их слепота определяла цену ковров. Торговцы похвалялись: *этот ковер ослепил десять детей. Тот – пятнадцать. А вот тот – двадцать.* Чем больше, тем дороже ковер, и потому торговцы всегда преувеличивали. А покупатели насмешливо фыркали, слушая эту похвальбу. *Да не больше семи, не больше двенадцати, не больше шестнадцати,* говорили они, щупая ковры. *Этот грубый, как кухонная тряпка. Этот не лучше одеяла нищенки. А этот ткал не иначе как гнапп.*

Когда дети слепли, их продавали в бордели – и девочек, и мальчиков. Услуги этих слепых ценились очень высоко: по слухам, их ласки были столь изощренны и искусны, что от прикосновения маленьких пальчиков на коже словно распускались цветы и струилась вода.

Еще дети ловко вскрывали замки. Некоторые слепые сбегали и овладевали наукой наемных убийц – перерезали глотки в темноте; их услуги пользовались большим спросом. У них был исключительно тонкий слух, они неслышно двигались и умели пролезть куда угодно; различали, спит человек крепко или ненадолго забылся тревожным сном. Убивали они легко – словно мотылек задел крылышком шею. Считалось, что у них нет жалости. Их смертельно боялись.

Дети, когда были еще зрячими и ткали бесконечные ковры, частенько перешептывались о будущем. У них была поговорка: только слепые свободны.

Как это грустно, шепчет она. Зачем ты рассказываешь такую печальную историю?

Тьма все плотнее окутывает их. Его руки наконец ее обнимают. Не спеши, говорит он себе. Никаких резких движений. Он слушает свое дыхание.

Я рассказываю истории, которые мне лучше удаются. И которым ты поверишь. Ты ведь не проглотить сентиментальную чепуху?

Да, не проглочу.

Кроме того, не такая уж она и грустная, эта история. Кое-кто сбегал.

И становился убийцей.

А у них был выбор? Они не могли продавать ковры или владеть борделями. У них не было денег. Приходилось соглашаться на черную работу. Такая уж судьба.

Не надо, говорит она. Я же не виновата.

Я тоже. Скажем, так: мы расплачиваемся за грехи отцов.

Необязательно так жестоко, холодно говорит она.

А когда жестокость обязательна? И насколько? Почитай газеты. Не я создал мир. Как бы то ни было, я за убийц. Если перед тобой выбор, умереть с голоду или перерезать глотку, – что ты предпочтешь? А может, трахаться за деньги? Этот промысел вечен.

Он зашел слишком далеко. Она отодвигается. Ну все, говорит она. Пора возвращаться. Листья порывисто шелестят. Она вытягивает руку: на ладонь падают капли. Гром теперь ближе. Она снимает пиджак. Он не поцеловал ее и не будет, не сегодня. Как отсрочка казни.

Постой у окна, говорит он. В спальне. И не выключай свет. Просто встань у окна.

Она пугается. Зачем? С чего вдруг?

Мне так хочется. Хочу быть уверен, что с тобой все в порядке, прибавляет он, хотя дело вовсе не в этом.

Хорошо, постараюсь, обещает она. Только минутку. А где ты будешь?

Под деревом. Под каштаном. Ты меня не увидишь, но я там буду.

Он знает, где окно, думает она. Знает, какое внизу дерево. Должно быть, уже бродил там. Следил за ней. Она слегка вздрагивает.

Дождь, говорит она. Скоро польет. Промокнешь.

Сейчас не холодно, отвечает он. Я буду ждать.

«Глоуб энд мейл», 19 февраля 1998 года

Прайор, Уинифред Гриффен. Скончалась в возрасте 92 лет после продолжительной болезни в собственном доме в Роуздейле. В лице миссис Прайор, известной благотворительницы, Торонто потерял одного из самых верных и последовательных филантропов. Сестра покойного промышленника Ричарда Гриффена и золовка известной писательницы Лоры Чейз, миссис Прайор работала в попечительском совете Торонтского симфонического оркестра в годы его становления, а позднее – в общественном комитете Художественной галереи Онтарио и в Канадском обществе по борьбе с раком. Она была активным членом Гранитного клуба, клуба «Геликон», а также Молодежной лиги и Фестиваля драмы Доминиона. У нее осталась внучатая племянница Сабрина Гриффен, которая в настоящее время путешествует по Индии.

Заупокойная служба состоится в четверг утром в церкви Святого апостола Симона; затем погребальная процессия проследует на кладбище Маунт-Плезант. Желаящие могут вместо цветов внести пожертвования на больницу принцессы Маргарет.

Слепой убийца: Сердце, нарисованное губной помадой

Сколько у нас времени, спрашивает он.

Уйма, отвечает она. Часа два-три. Все куда-то ушли.

Куда?

Понятия не имею. Делают деньги. Покупают вещи. Что-то важное. Чем они там обычно занимаются. Она заправляет локон за ухо и садится прямее. Она словно девушка по вызову, свистнули – прибежала. Дешевка. Чья это машина, спрашивает она.

Одного друга. Видишь, я важный человек. У меня есть друг с машиной.

Ты надо мной смеешься, говорит она. Он не отвечает. Она стягивает перчатку. А если нас увидят?

Увидят только машину. А это – развалюха, машина для бедных. Тебя не увидят, даже глядя тебе в лицо: такую женщину невозможно застукать в такой машине.

Иногда я тебе не очень-то нравлюсь.

В последнее время я только о тебе и думаю. Но нравится – это другое. Это требует времени. У меня нет времени на то, чтобы ты мне нравилась. Не могу на этом сосредоточиться.

Не туда. Смотри на указатель.

Указатели – для остальных, говорит он. Сюда – прямо сюда.

Тропа больше похожа на канаву. Скомканные салфетки, обертки от жвачек, рыбы пузыри использованных презервативов. Бутылки и булыжники; высохшая грязь – вся в трещинах и рытвинах. На ней неподходящая обувь, не те каблуки. Он поддерживает ее, берет за руку. Она отстраняется.

Здесь же все как на ладони. Нас могут увидеть.

Кто? Мы под мостом.

Полиция. Не надо. Не сейчас.

Полицейские не шныряют среди бела дня. Только ночью, с фонариками – ищут нечестивых извращенцев.

Тогда бродяги, говорит она. Или маньяки.

Иди сюда. Сюда. В тень.

Тут не растет ядовитый сумах?

Нет. Клянусь. И нет ни бродяг, ни маньяков, кроме меня.

Откуда ты знаешь про сумах? Ты что, здесь уже был?

Да не волнуйся ты так, говорит он. Ложись.

Не надо. Ты порвешь одежду. Подожди секунду.

Она слышит свой голос. Но это не ее голос: слишком прерывистый.

В сердце, нарисованном губной помадой на цементе, их инициалы. Они соединены буквой «Л», что означает «любовь». Только они, посвященные, будут знать, чьи это инициалы: они здесь были, занимались этим. Декларация любви – и никаких подробностей.

С внешней стороны сердца еще четыре буквы – как четыре направления компаса:

Т Р

А Х

Слово разорвано, будто вывернуто наизнанку: безжалостная топография секса.

Его губы отдают табаком, на ее губах вкус соли; пахнет смятой травой и кошками – запах богом забытого уголка. Сырость и буйная растительность, земля на коленках, грязная и жирная; длинноногие одуванчики тянутся к свету.

Ниже журчит ручеек. Над ними зеленые ветви и тонкие вьющиеся стебли с алыми цветочками; вздымаются опоры моста, железные балки; слышен шум колес наверху; осколки голубого неба. Она спиной чувствует жесткую землю.

Он гладит ее лоб, проводит пальцем по щеке. Не стоит мне поклоняться, говорит он. У меня не единственный член в мире. Когда-нибудь поймешь.

Не в этом дело, говорит она. И я тебе не поклоняюсь. Он уже выталкивает ее прочь, в будущее.

Так или иначе, у тебя это будет еще, и не раз, стоит мне сойти с твоей орбиты.

О чем ты? Какая орбита?

Я о том, что есть жизнь после жизни, говорит он. После нашей жизни.

Поговорим о чем-нибудь другом.

Хорошо, соглашается он. Ложись обратно. Положи сюда голову. И он приоткрывает влажную рубашку. Одной рукой обнимает, другой роется в кармане, ища сигареты, затем чиркает спичкой по ногтю. Ее ухо – в ямке у него на плече.

Так на чем я остановился, спрашивает он.

Ткачи. Слепые дети.

Да. Помню.

Он продолжает. В основе богатства Сакиэль-Норна лежал рабский труд, особенно труд детей, ткавших знаменитые ковры. Но говорить об этом считалось не к добру. Снилфарды утверждали, что богатством они обязаны не рабскому труду, а добродетельному и праведному образу жизни – иными словами, жертвам, что угодны богам.

Богов у них было много. Лишние боги никогда не помешают, они оправдывают почти все, и боги Сакиэль-Норна – не исключение. Все они были кровожадны и любили получать в жертву животных, но больше всего ценили человеческую кровь. При основании города, так давно, что эти события стали легендой, девять набожных отцов принесли в жертву собственных дочерей – похоронили под девятью воротами города, дабы отвести от него беду.

На каждую сторону света выходили двое ворот: одни – для входа, другие – для выхода. Если вышел из ворот, куда вошел, скоро умрешь. Девятые ворота – мраморная плита, что лежала на вершине холма в центре города, – открывались, не шевелясь, балансируя между жизнью и смертью, между плотью и духом. Через эту дверь приходили и уходили боги. Им не требовались лишние двери: в отличие от смертных они могли пребывать одновременно по обе стороны. Проповедники Сакиэль-Норна любили вопрошать: *«Что есть истинное дыхание человека – вдох или выдох?»* Такова была природа их богов.

Девятые ворота были и алтарем, где проливалась жертвенная кровь. Мальчиков приносили в жертву Богу Трех Солнц – богу дня, яркого света, дворцов, празднеств, очагов, войн, вина, входов и слов; а девочек – Богине Пяти Лун, покровительнице ночи, туманов, сумрака, голода, пещер, родов, выходов и молчания. Мальчиков оглушали дубинкой прямо на алтаре, а затем бросали в пасть бога, что вела в бушующее пламя. Девочкам перерезали горло, и кровь вытекала постепенно, возвращая силу пяти убывающим лунам, чтобы те не поблекли и не исчезли навсегда.

В память о девяти девушках, похороненных у городских ворот, ежегодно приносились в жертву еще девять. Их называли «девами Богини» и осыпали цветами, за них молились, воскуряли фимиам, надеясь, что они заступятся за горожан перед Богиней. Последние три месяца года звались «безликими»; тогда на полях ничего не родилось, и народ верил, что Богиня голодает. В это время огнем и мечом правил Бог Солнца, и матери, чтобы защитить сыновей, одевали их в женское платье.

По закону самые благородные семейства снилфардов должны были принести в жертву Богине хотя бы одну дочь. Считалось, что Богиня будет оскорблена, если ей предложат в жертву девушку с физическим недостатком или порченную, и потому со временем снилфарды стали калечить дочерей, чтобы те избежали ранней смерти, – отрубали пальцы или ухо. Потом увечье стало скорее символическим – вроде продолговатой голубой татуировки вдоль ключиц. Для женщины, не принадлежавшей к касте снилфардов, иметь такую татуировку считалось преступлением, но жадные до наживы владельцы борделей рисовали эти знаки чернилами на теле девиц, умевших изобразить надменность. Это нравилось клиентам – приятно думать, будто насилуешь высокородную снилфардскую принцессу.

Тогда же у снилфардов появился обычай брать в семью подкидышей – обычно детей рабыни и ее хозяина – и на жертвенном алтаре подменять ими законных дочерей. Обман, но аристократические семьи имели большой вес, и власти закрывали глаза на подмену.

Потом благородные семейства совсем обленились, сочтя обременительным растить чужих детей: они сразу отдавали девочек в Храм Богини, щедро оплачивая их содержание. Так как девочки носили имена знатных родов, они были достойны принести себя в жертву. Так заводят лошадей для скачек. Эта практика искажала изначальный благородный обычай – но к тому времени в Сакиэль-Норне продавалось все.

Будущие жертвы держались в храме взаперти, их прекрасно кормили, дабы они были здоровыми и крепкими, и тщательно готовили к великому дню, чтобы девушки выполнили свой долг с блеском и не струсил. Существовало мнение, что идеальная жертва – словно танец: величавый и лирический, гармоничный и изящный. Ведь они не животные, которых грубо закалывают; девушки должны отдать жизнь добровольно. Многие из них верили своим наставникам, думали, что благоденствие всего королевства зависит от их самоотверженности. Они проводили долгие часы в молитве, добиваясь нужного настроения; их учили ходить с потупленным взором, улыбаться с оттенком мягкой грусти и петь песни о Богине – об отсутствии и молчании, о неслучившейся любви и невыраженном сожалении и о бессловесности – песни о невозможности петь.

Время шло. Мало кто принимал богов всерьез, а чрезмерно набожных или старательных считали чокнутыми. Горожане отправляли древние ритуалы по привычке – не они были главным занятием.

Несмотря на изоляцию, некоторые девушки понимали, что их убивают из лицемерного почитания устаревшей идеи. Кое-кто при виде ножа пытался спастись. Другие истошно вопили, когда их, ухватив за волосы, бросали на алтарь, а кто-то проклинал самого короля, который на церемониях выступал Верховным Жрецом. Одна девушка его даже укусила. Эта периодическая паника и ярость приводили горожан в негодование: подобное сопротивление сулило городу страшные беды. Или могло сулить, если верить, что Богиня существует. В любом случае эти вспышки портили торжество: все хотели насладиться жертвоприношением – даже йгни-роды, даже рабы, которые по такому случаю получали выходной и в стельку напивались.

Поэтому за три месяца до ритуала девушкам стали отрезать языки. Жрецы называли это улучшением природы, а не увечьем: немота – что может быть естественнее для служанок Богини Безмолвия?

И теперь каждую девушку, безязыкую, разбухшую от слов, что рвались изнутри, закутанную в покрывала и убранный цветами, вели в процессии под торжественную музыку вверх по винтовой лестнице к девятым вратам города. Сегодня они казались бы избалованными невестами из светского общества.

Она приподнимается. А вот это необязательно, говорит она. Ты целишься в меня. Тебе просто нравится сама идея убийства бедных девушек в подвенечных уборах. Могу поклясться, что они блондинки.

Не в тебя, говорит он. Не вполне. В любом случае далеко не все я придумал сам, в истории есть примеры. Хетты...

Да, конечно, но ты эту историю смакуешь. Ты мстительный... нет, ты ревнуешь, хотя непонятно почему. Мне дела нет до хеттов, истории и всего прочего – это лишь оправдание.

Нет, подожди. Ты не возражала против жертвенных дев – сама включила их в меню. Я только выполняю заказ. К чему ты придираешься? К одежде? Слишком много тюля?

Не будем ссориться, говорит она. Она чувствует, что вот-вот расплачется, и сжимает кулаки.

Я не хотел тебя расстраивать. Успокойся.

Она отталкивает его руку. Да, не хотел. Тебе просто нравится знать, что ты можешь.

Я думал, тебя это развлекает. Слушать, что я тут разыгрываю. Как я жонглирую эпитафиями. Фиглярничаю перед тобой.

Она одергивает юбку и поправляет блузку. Как меня могут развлечь мертвые девушки в подвенечных уборах? Да еще с отрезанными языками? Думаешь, я бесчувственная?

Я все переделаю. Все поменяю. Перепишу для тебя историю. Идет?

Не выйдет, говорит она. Сказанного не веротишь. Нельзя выкинуть полсюжета. Я ухожу. Она уже стоит на коленях, сейчас поднимется.

Еще уйма времени. Приляг. Он хватает ее за руку.

Нет. Пусты. Посмотри, где солнце. Они вот-вот вернутся. У меня будут проблемы, хотя для тебя это не проблема, это не считается. Тебе наплевать. Тебе только бы побыстрее, на скорую руку...

Ну, договаривай.

Сам знаешь, устало говорит она.

Это не так. Прости меня. Я животное. Меня занесло. Но ведь это просто выдумка.

Она упирается лбом в колени. Помолчав минуту, спрашивает: что я буду делать? Потом, когда тебя не будет рядом?

Ты справишься, говорит он. Переживешь. Дай-ка я тебя отряхну.

Это не отойдет; не стряхивается.

Давай тебя застегнем, говорит он. Не грусти.

Бюллетень школы им. полковника Генри Паркмена
и Ассоциации выпускников, Порт-Тикондерога,
май 1998 года

УЧРЕЖДЕНИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ ПРЕМИИ ЛОРЫ ЧЕЙЗ

Майра Стёрджесс, вице-президент

Ассоциации выпускников

По завещанию покойной миссис Уинифред Гриффен Прайор из Торонто, в школе им. полковника Генри Паркмена учреждена новая ценная премия. Знаменитого брата миссис Прайор, Ричарда Э. Гриффена, здесь тоже помнят: он часто отдыхал и рыбачил в Порт-Тикондероге. Фонд премии – мемориальной премии Лоры Чейз за достижения в области литературного творчества – составляет 200 долларов. Каждый год ее будут вручать студенту выпускного курса за лучший рассказ. Лауреата изберет жюри в составе трех членов ассоциации, обладающих хорошим литературным вкусом и высокими моральными качествами. Наш директор, мистер Эф Эванс, заявляет: «Мы благодарны миссис Прайор за то, что она за множеством добрых дел не забыла и о нас».

Первая премия, названная в честь местной уроженки, известной писательницы Лоры Чейз, будет вручена на выпускной церемонии в июне нынешнего года. Сестра писательницы, миссис Айрис Гриффен, в девичестве Чейз (чье семейство в прошлом много сделало для нашего города), любезно согласилась лично вручить премию счастливому победителю. Осталось всего несколько недель, так что пусть ваши ребята прищпорят фантазию и возьмутся за дело!

Силами Ассоциации выпускников после церемонии в спортивном зале будет организовано чаепитие. Билеты можно приобрести у Майры Стёрджесс в «Пряничном домике». Собранные деньги пойдут на покупку новой футбольной формы, которая так нужна школе. Выпечка приветствуется; при наличии орехов указывайте, пожалуйста, содержание.

III

Церемония

Сегодня утром я проснулась в ужасе. Сначала не могла понять почему, потом вспомнила. Сегодня вручают премию.

Солнце уже было высоко, в комнате – слишком жарко. Свет проникал сквозь тюлевые занавески, пылинки плавали в нем, точно тина в пруду. Голова тяжелая – прямо куль с мукой. В ночной рубашке, взмокшая от страха, отброшенного, словно ветки на ходу, я заставила себя вылезти из смятой постели; затем через силу совершила ежедневные утренние обряды – церемониал, что делает нас нормальными с виду и приятными окружающим. Надо пригладить волосы, вставшие дыбом при виде ночных призраков, смыть пристальный недоверчивый взгляд. Почистить зубы. Бог знает, что за кости я глодаю во сне.

Затем я ступила под душ, держась за поручень, который навязала мне Майра. Я изо всех сил старалась не уронить мыло: боюсь поскользнуться. Но делать нечего, тело должно быть облито из шланга – нужно смыть с кожи запах ночного мрака. Подозреваю, что от меня исходит запах, которого я сама больше не чувствую, – вонь дряхлой плоти и мутной старческой мочи.

Полотенце, лосьон, пудра, дезодорант, напоминающий плесень, – и я в каком-то смысле себя отреставрировала. Но меня не покидало ощущение невесомости или, скорее, такое чувство, будто я сейчас шагну в пропасть. Всякий раз я ступаю с опаской, словно пол вот-вот провалится. Меня держит лишь натяжение поверхности.

Одежда помогла. Без строительных лесов я не в лучшей форме. (А что с моей настоящей одеждой? Эти синие балахоны и ортопедическая обувь, верно, чужие. Но нет – мои; и что хуже, мне подходят.)

Теперь лестница. Я безумно боюсь с нее свалиться – сломать шею и распластаться внизу, выставив нижнее белье, постепенно растекаясь мерзкой лужицей, пока кто-нибудь не вспомнит обо мне и не придет. Очень неуклюжая смерть. Я с превеликой осторожностью, вцепившись в перила, шаг за шагом спустилась, а затем, легко, словно кошачьими усиками, левой рукой касаясь стены, прошла по коридору в кухню. (Я еще по большей части вижу. Могу передвигаться. *Благодарите и за малое*, говорила Рини. *Зачем благодарить*, спрашивала Лора. *Почему оно такое малое?*)

Завтракать не хотелось. Я выпила стакан воды, а потом лишь беспокойно ерзала. В половине десятого за мной приехал Уолтер.

– Не жарко вам? – спросил он по обыкновению. Зимой он спрашивает: *не холодно?* А весной и осенью: *не сыро* или *не сухо?*

– Как дела, Уолтер? – как обычно, поинтересовалась я.

– Да пока вроде ничего плохого, – ответил он, как всегда.

– Лучшего и ожидать нельзя, – сказала я.

Он улыбнулся своей обычной улыбкой – в лице прорезалась щель, точно сухая глина треснула, – распахнул дверцу автомобиля и водрузил меня на переднее сиденье.

– Сегодня важный день, а? – сказал он. – Пристегнитесь, а то меня арестуют.

Пристегнитесь он произнес так, словно шутил: он достаточно стар, чтобы вспоминать прежние вольные деньки. Он был из тех юношей, что разъезжают, выставив локоть в окно, а другую руку кладут девушке на колено. Самое поразительное, что этой девушкой была Майра.

Он осторожно отъехал от тротуара, и дальше мы катили в молчании. Он крупный мужчина, Уолтер, квадратный, как постамент, а шея – словно еще одно плечо; от него пахнет ста-

рыми кожаными ботинками и бензином – не самый неприятный запах. Судя по его потертой рубашке и бейсболке, на церемонию он не собирается. Уолтер не читает книг, и потому нам вместе удобно; в его представлении Лора – всего лишь моя сестра и ее смерть – ужасная несправедливость, вот и все.

Мне нужно было выйти замуж за такого мужчину, как Уолтер. Золотые руки.

Нет: совсем не стоило выходить замуж. Избежала бы массы неприятностей.

Уолтер затормозил перед школой. Послевоенная школа, уж пятьдесят лет прошло, но она по-прежнему кажется мне новостройкой: никак не привыкну к этой унылой бесцветности. Похожа на ящик для бутылок. По тротуару и лужайке к парадному подъезду шла молодежь с родителями. Все одеты по-летнему ярко. Майра, в белом платье сплошь в огромных красных розах, уже нас поджидала, кричала нам с крыльца. Женщинам с таким задом не стоит носить платья с крупными цветами. Стоит помянуть и корсеты – не то чтобы я о них скучала. Майра сделала прическу; тугие, точно запеченные, седые кудряшки – похоже на парик английского адвоката.

– Ты опоздал, – упрекнула она Уолтера.

– Совсем нет, – возразил тот. – Просто все остальные пришли слишком рано. Зачем ей зря тут торчать?

Они завели привычку говорить обо мне в третьем лице, будто я ребенок или домашнее животное.

Уолтер передал мою руку Майре, и мы с ней взошли на крыльцо, тесно прижавшись друг к другу, словно бегуны в паре. Я знала, что у Майры под пальцами: хрупкая лучевая кость, покрытая дряблой кашицей и жилами. Нужно было захватить трость, но я не представляла, как втащить ее на сцену. Кто-нибудь обязательно споткнется.

Майра отвела меня за кулисы и спросила, не хочу ли я в туалет – она всегда помнит такие вещи, – а потом усадила меня в гардеробной.

– Посиди пока здесь, – сказала она. И, тряся ягодицами, заторопилась прочь – проверить, все ли в порядке.

Маленькие круглые лампочки, как в театре, окружали зеркало в гардеробной; их свет льстил, только не мне: я казалась больной – в лице ни кровинки, будто в вымоченном мясе. Волнуюсь или и впрямь заболеваю? По правде говоря, чувствовала я себя не лучшим образом.

Отыскав гребень, я небрежно воткнула его в волосы на макушке. Майра все грозитя отвести меня к «своей девушке» в заведение, которое она до сих пор величает салоном красоты (официально оно именуется «Парик-порт» – причем с уточнением «для лиц обоего пола»), но я сопротивляюсь. По крайней мере, волосы у меня, можно считать, свои – пусть и торчат, как будто я только что слезла с электрического стула. Сквозь них просвечивает череп – серо-розовый, точно мышьиные лапки. Сильный ветер просто сдует мне волосы, будто пух с одуванчика; останется крошечный пятнистый початок лысой головы.

Майра оставила мне свое фирменное пирожное, испеченное для праздничного чаепития, – кусок бурой замазки, политой шоколадной слякотью, – и пластиковую фляжку с этим ее кисловатым кофе. Я не могла ни есть, ни пить, но ведь создал же Господь туалеты. Для достоверности я оставила на столе коричневые крошки.

Тут в гардеробную влетела Майра, сгребла меня в охапку и потащила за собой; и вот уже директор пожимает мне руку и бубнит, как мило с моей стороны прийти на церемонию; потом то же самое проделывают его заместитель; президент Ассоциации выпускников; руководитель английского отделения – женщина в брючном костюме; представитель Молодежной торговой палаты; и наконец, член парламента от нашего райдинга, не желающий упустить шанс заработать очки. В последний раз я видела столько безукоризненных зубов в те времена, когда Ричард занимался политикой.

Майра подвела меня к стулу и шепнула: «Я буду тут, за кулисами». Школьный оркестр разразился писком и бемолями, и мы затаили: «О, Канада!» Никак не запомню слова – они постоянно меняются. Теперь кое-что поется на французском – немыслимая прежде вещь. Потом мы сели, нашу коллективную гордость выразив словами, которые не умели произносить.

Школьный священник прочитал молитву, проинформировав Господа, сколько сложных и неординарных решений приходится принимать современной молодежи. Господь, должно быть, не раз уже об этом слышал и скучал не меньше нашего. Потом заговорили другие: конец двадцатого века, выбрасываем старое, привносим новое, граждане будущего, вам – из слабеющих рук и тому подобное. Я позволила себе отвлечься; я понимала: от меня требуется одно – не опозориться. Как пред аналогом или на каком-нибудь бесконечном ужине с Ричардом, где я обычно не раскрывала рта. Если спрашивали, что бывало не часто, говорила, что увлекаюсь садоводством. В лучшем случае, полуправда, но достаточно нудная, чтобы сойти за правду.

Настал черед вручения дипломов. Выпускники шли один за другим, серьезные и сияющие, такие разные, но все красивые, как могут быть красивы только молодые люди. Даже самые уродливые красивы, даже угрюмые, толстые, даже прыщавые. Они и не понимают, как они красивы. И все-таки эти молодые раздражают. У них, как правило, ужасная осанка, а судя по песням, они только ноют и предаются пороку; *улыбайся и терпи* кануло в прошлое вместе с фокстротом. Не понимают они своего счастья.

Меня они едва замечали. Я для них – чудное существо, но, по-моему, такова общая участь: те, кто моложе, непременно записывают стариков в чудики. Если, конечно, обходится без крови. Война, эпидемия, убийство, любые тяжкие испытания или насилие – это они уважают. Если кровь – значит, мы не шутили.

Затем пошли призы: информатика, физика, бу-бу-бу, бизнес, английская литература и еще что-то – я не уловила. Но вот представитель ассоциации прочистил горло и начал благодетельный треп об Уинифред Гриффен Прайор, святой среди смертных. Сколько лжи, когда замешаны деньги! Не сомневаюсь, старая сука, вставляя свое скаредное распоряжение в завещание, так и видела эту картину. Она понимала, что потребуется мое присутствие; ей хотелось, чтобы я корчилась под любопытными взорами горожан, пока ей возносят хвалу за щедрость. *Сделай это в память обо мне*. Мне ужасно не хотелось ей потакать, но я не могла увильнуть, не показавшись трусихой, или виноватой, или равнодушной. Или хуже: все позабывшей.

Дошла очередь и до Лоры. Политик решил воздать ей должное сам: следовало проявить такт. Он говорил о Лориных местных корнях, о ее смелости и «верности избранной цели» – какова бы эта цель ни была. И ничего о Лориной смерти, по общему мнению – несмотря на вердикт следователя – от самоубийства отличной не больше чем «черт» от ругани. И ни слова о книге, которую большинство предпочли бы забыть. Но она не забыта – не здесь: и спустя пятьдесят лет от нее пахнет серой, на ней лежит табу. Это, я бы сказала, непостижимо: по части эротики она устарела; что до сквернословия, то на любом углу услышишь словечки покрепче; секс благопристойнее танца с веером – почти эксцентричен, будто пояс с подвязками.

Раньше, конечно, все было иначе. Люди помнят не саму книгу, но ажиотаж вокруг нее: священники в церквях обличали ее непристойность – и не только в наших краях; библиотеку вынудили убрать ее с полки; единственный в городе книжный магазин отказался ее продавать. Люди ездили в Стратфорд, в Лондон или даже в Торонто, покупали книгу тайком – как презервативы. Вернувшись домой, задерживали шторы и читали – с неодобрением, с наслаждением, с жадностью и ликованием – даже те, кто никогда прежде не раскрыл ни одного романа. Ничто так не повышает грамотность, как щепотка грязи.

(Бесспорно, высказывались и добрые чувства. *Я не дочитала книгу – недостаточно сюжетна. Но бедняжка была так молода. Поживи она еще, может, следующая книга удалась бы ей больше.* Это, наверное, лучшее, что можно сказать.)

Чего они хотели? Разврата, грязи, подтверждения худших подозрений. Но, быть может, некоторые вопреки себе жаждали обольщения. Быть может, искали в ней страсти; рылись, точно в таинственной посылке – в подарочной коробке, на дне которой в шуршащую бумагу спряталось нечто, о чем они всегда мечтали, но никак не могли ухватить.

Но еще всем хотелось разглядеть прототипы. То есть помимо Лоры: ее реальность сомнению не подвергалась. Хотелось реальных тел, что совпали бы с телами нарисованными. Хотелось подлинной страсти. И больше всего хотелось знать, *кто мужчина. Кто* был в постели с молодой женщиной – с красивой мертвой молодой женщиной, в постели с Лорой? Некоторые думали, что они-то знают. Ходили разные слухи. Для тех, кто мог сложить два и два, результат был очевиден. *Притворилась невинным младенцем. Тихоней прикидывалась. Видите – внешность обманчива.*

Но Лора уже была неуязвима. Достать могли только меня. Пошли анонимные письма. Почему я опубликовала такую грязь? Да еще в Нью-Йорке – в этом Содоме. Какая мерзость! Как мне не стыдно? Я опозорила свою – такую уважаемую – семью, а заодно и весь город. У Лоры всегда было плохо с головкой, все это подозревали, а книга доказала. Мне следовало беречь память о Лоре. Сжечь рукопись. Я смотрела на кляксы голов в зале – стариковских голов – и словно вдыхала ядовитые испарения былой злобы, былой зависти, бывшего осуждения, что курились над ними, будто над остывающим болотом.

Что касается книги, то о ней не упоминали, задвинули ее в угол, точно родственника, которого стыдятся. Такая тоненькая книжка, такая беспомощная. Незваная гостья на этом странном пиршестве, она, будто слабенький мотылек, тщетно била крылышками на кромке сцены.

Я грезила, и тут меня схватили за руку, приподняли и сунули чек в конверте с золотым ободком. Объявили победителя. Фамилию я не расслышала.

Она шла ко мне, стуча каблучками. Высокая – молодые девушки теперь все высокие; должно быть, дело в питании. В черном платье – среди летних расцветок оно смотрелось мрачновато; в ткани поблескивали серебристые нити или бисер – словом, что-то сверкало. Длинные темные волосы. Овальное лицо, на губах светло-вишневая помада; слегка нахмурена, сосредоточена, напряжена. Кожа чуть желтоватая или смугловатая – может, индианка, или арабка, или китаянка? Теперь такое возможно даже в Порт-Тикондероге: все перемешалось.

У меня екнуло сердце: острая тоска судорогой пронзила тело. Может, моя внучка – может, Сабрина сейчас такая, подумала я. Похожа или нет, остается лишь гадать. Я могу не узнать ее при встрече – ее прятали от меня слишком долго, ее и теперь прячут. Что поделаешь?

– Миссис Гриффен, – прошипел политик.

Я качнулась, но удержалась на ногах. И что мне теперь говорить?

– Моя сестра Лора была бы рада, – задыхаясь, проговорила я в микрофон. Голос пронзительный; я была на грани обморока. – Ей нравилось помогать людям. – Тут я не солгала. Я поклялась говорить одну только правду. – Она очень любила читать, любила книги. – Тоже, в общем, правда. – И пожелала бы вам на будущее всего наилучшего. – И это правда.

Мне удалось передать конверт; девушке пришлось наклониться. Я шепнула ей на ухо или хотела шепнуть: *«Да хранит тебя Господь! Береги себя!»* Каждому, кто намерен путаться со словами, пригодится такое благословение и предостережение. Заговорила ли я или рыбой открыла и закрыла рот?

Девушка улыбнулась; на лице и в волосах вспыхнули и заискрились бриллиантики. Обман зрения – меня подвели глаза и слишком яркий свет на сцене. Надо было надеть темные очки. Я заморгала. И тут девушка повела себя неожиданно: потянулась ко мне и поцеловала в щеку. В прикосновении ее губ я почувствовала собственную кожу: мягкую, как тонкая лайка, морщинистую, рыхлую, древнюю.

Она шепнула что-то в ответ, но я не расслышала. Может, обычные слова благодарности, а может – возможно ли? – что-то другое на незнакомом языке?

Она отвернулась. От нее шел такой яркий свет, что мне пришлось закрыть глаза. Я ничего не слышала и не видела. Надвигалась темнота. Аплодисменты взорвались в ушах биением невидимых крыл. Я пошатнулась и чуть не упала.

Кто-то из официальных лиц с хорошей реакцией схватил меня за руку и усадил на стул. Вернул в безвестность. В длинную Лорину тень. Подальше от греха.

Но старая рана открылась, и хлещет невидимая кровь. Скоро я опустею.

Серебряная шкатулка

Рыжие тюльпаны лезут из земли, помятые и потрепанные, как солдаты отвоевавшей армии. Я приветствую их с облегчением, точно людей, что машут платками из разбомбленного дома; и все же придется им пробиваться самостоятельно – от меня помощи мало. Иногда я ковыряюсь в зарослях за домом, убираю высохшие стебли и опавшие листья, не более того. Колени сгибаются с трудом – в земле копать больше не могу.

Вчера я отправилась к врачу – посоветоваться насчет приступов дурноты. Его заключение: у меня, что называется, *сердце* – будто у здоровых людей его нет. Похоже, я все-таки не буду жить вечно, просто уменьшаясь, серея и пылясь, словно Сивилла в бутылке⁶. Прошептал давным-давно, что хочу умереть, я только теперь осознала, что мое желание сбудется – и довольно скоро. Неважно, что я передумала.

Я закуталась в шаль и села под навесом на задней веранде за деревянный щербатый стол, который Уолтер по моей просьбе принес из гаража. В гараже обычный хлам, оставшийся от прежних хозяев: коллекция тюбиков с засохшей краской, груда рубероида, полбанки ржавых гвоздей, моток проволоки. Воробьиные мумии, мышиные гнезда из клочков матраса. Уолтер вымыл стол «Явексом», но мышами все равно пахнет.

На столе – чашка с чаем, четвертинки яблока и пачка бумаги в синюю линейку, как на старых мужских пижамах. Еще я купила новую шариковую ручку, недорогую, из черной пластмассы. Хорошо помню свою первую авторучку – такую гладкую, такие синие кляксы на пальцах. Бакелитовая, с серебряным ободком. 1929 год. Мне исполнилось тринадцать. Лора взяла ручку без спросу – как и все остальное – и с легкостью сломала. Я ее, конечно, простила. Как всегда. А что делать: нас было только двое. Ждем избавления на острове посреди колючек; а остальные люди – на материке.

Для кого я все это пишу? Для себя? Не думаю. Не могу представить, как потом стану перечитывать, *потом* для меня вообще проблематично. Для незнакомца из будущего, после моей смерти? И этого не хочу – или не надеюсь.

Может быть, ни для кого. Для кого пишут дети, выводя на снегу свои имена?

Я уже не такая ловкая, как раньше. Пальцы одеревенели, ручка дрожит и выводит каракули – я теперь дольше пишу. И все же я упорствую, скрючившись над столом, точно штопаю при луне.

В зеркале я вижу старую женщину – нет, не старую, никому теперь не дозволяется быть *старой*. Скажем, *пожилую*. Иногда я вижу пожилую женщину, похожую, наверное, на мою бабушку, которую я никогда не знала, или на мать, доживи она до моего возраста. Но порой я вижу лицо юной девушки, на которое когда-то тратила уйму времени, подчас впадая в отчаяние, – оно прячется под моим нынешним лицом, что кажется – особенно ближе к вечеру, под косыми солнечными лучами – непрочным и прозрачным: стянула бы его, словно чулок.

Доктор говорит, мне нужно гулять – каждый день; говорит, для сердца. Я бы не стала. Не сама ходьба смущает меня, а выход на улицу. Чувствую себя экспонатом. Может, я это придумываю – взгляды, перешептывания? Может быть – а может, и нет. В конце концов, я местная достопримечательность, вроде пустыря с кирпичными обломками, где раньше стояло некое важное здание.

⁶ В «Метаморфозах» римского поэта Публия Овидия Назона (43 г. до н. э. – ок. 18 г. н. э.) рассказывается история о Кумской Сивилле, греческой прорицательнице, которая испросила у Аполлона жизнь, длящуюся столько лет, сколько песчинок у нее в горсти, но не попросила вечной молодости, а потому старела, уменьшалась, пряталась в бутылке и молила Аполлона о смерти.

Какое искушение – никуда не выходить; превратиться в отшельницу, на которую соседские дети будут взирать с издевкой и толикой ужаса; пусть кустарники и сорняки растут, где им вздумается, а двери ржавеют; стану лежать в постели в чем-то вроде ночнушки – пусть волосы отрастают, опутывая подушку, ногти превращаются в когти, а свечной воск капает на ковер. Но я давным-давно сделала выбор между классикой и романтикой. Предпочитаю не сгибаться и сдерживаться – погребальной урной при свете дня.

Наверное, не стоило сюда возвращаться. Но тогда я просто не знала, куда деваться. Как говорила Рини, *из двух чертей выбирай знакомого*.

Сегодня я попробовала. Я вышла из дома, прогулялась. Отправилась на кладбище: нужна цель – иначе глупо выходить. Надела широкополую соломенную шляпу, чтобы солнце не било в глаза, темные очки, взяла трость, чтобы нащупывать бордюр. И еще пластиковую сумку.

Я пошла по Эри-стрит – мимо химчистки, фотомастерской и других лавок, уцелевших после оттока клиентуры в универмаги на окраине. Миновала кафе «У Бетти», которое опять перешло в другие руки: рано или поздно хозяевам надоедает возиться, или они умирают, или переезжают во Флориду. При кафе есть внутренний дворик, где туристы могут сидеть на солнышке, поджариваясь до румяной корочки; дворик позади кафе – потрескавшаяся цементная площадка, там раньше стояли мусорные баки. В кафе подают тортеллини и капучино, смело их рекламируя, словно горожане издавна знают, что это такое. Теперь, правда, уже знают – вкусили хотя бы для того, чтобы иметь право фыркать. *Не нравится мне этот пух на кофе. Похоже на крем для бритья. Глотаешь – и рот словно мылом набит.*

Раньше здесь кормили пирогами с курятиной, но их давно не пекут. Теперь продают гамбургеры, однако Майра не советует их есть. Говорит, эти замороженные котлеты – из мясной пыли. А этот мясной прах, говорит, соскребают с пола, когда электропилой распиливают мороженные коровьи туши. Майра в парикмахерской читает много журналов.

Вход на кладбище через кованые железные ворота, на арке – замысловатый витой узор, а сверху надпись: *«Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной»⁷*. Да, казалось бы, вдвоем безопаснее; но Ты – персонаж ненадежный. Все мои знакомые Ты вечно подводили. Они удирают из города, предают или мрут как мухи – и куда тебе деваться?

Да вот прямо сюда.

Фамильный памятник семейства Чейз трудно не заметить: он выше всех. На массивном каменном кубе с завитками по углам – два белых мраморных викторианских ангела, – сентиментальные, но для памятника неплохи. Один стоит, скорбно склонив голову, рука нежно легла второму на плечо. Тот преклонил колена и, прислонившись к бедру соседа, устремил взор вперед, прижимая к груди охапку лилий. Фигуры – сама благопристойность, их очертания теряются в складках мягко ниспадающего непроницаемого минерала, но все-таки видно, что это женщины. Над ними хорошо потрудились кислотные дожди: когда-то внимательные глаза помутнели, расплылись и пористы, точно у ангелов катаракта. Хотя, может, это я теряю зрение.

Мы с Лорой часто сюда приходили. Сначала нас приводила Рини, считавшая, что посещение семейных могил детям полезно, а потом мы ходили и сами: благочестивый, а значит, подходящий предлог уйти из дома.

Маленькая Лора говорила, что ангелы – это мы, я и она. Я возражала: ангелов поставили при бабушке, когда нас еще и на свете не было. Но Лора никогда не обращала внимания на подобные доводы. Ее больше занимали формы – то, чем были вещи в себе, а не то, чем они не были. Она жаждала сущностей.

⁷ Пс. 22:4.

С годами я завела привычку приходить сюда не реже двух раз в год – хотя бы прибраться. Один раз приезжала на машине, но больше не ездила: слишком плохо вижу. Сейчас, с трудом наклонившись, я собрала засохшие цветы от неизвестных Лориных поклонников и засунула букеты в пластиковую сумку. Теперь подношений меньше, но по-прежнему немало. Сегодня некоторые были довольно свежими. Иногда я нахожу здесь благовония и свечи, будто кто-то вызывал Лорин дух. Собрав цветы, я обошла памятник, читая имена усопших Чейзов, выгравированные по сторонам куба. *Бенджамин Чейз и его возлюбленная жена Аделия; Норвал Чейз и его возлюбленная жена Лилиана; Эдгар и Персивал – они никогда не состарятся, как мы, кто остался стариться.* И Лора тоже, где бы она ни была. Ее сущность.

Мясной прах.

На прошлой неделе в городской газете вместе с заметкой о премии напечатали фотографию Лоры – обычную фотографию, с суперобложки, единственную, что появилась в печати, поскольку только ее я и отдала. Студийный снимок: торс повернут от фотографа, а голова к нему – подчеркнуть грациозность шеи. *Немного сюда, теперь поднимите глаза, смотрите на меня, вот так, а теперь улыбочка.* У нее длинные белокурые волосы, как и у меня тогда, – светлые, почти белые, будто смыта вся рыжина – железо, медь, все тяжелые металлы. Прямой нос, лицо сердечком, большие, ясные, простодушные глаза, брови дугой, растерянно вздернутые у переносицы. Намек на упрямство в линии подбородка, но если не знать – не заметишь. Почти никакой косметики, и лицо обнажено. Глядя на губы, понимаешь, что видишь плоть.

Хорошенькая, даже красивая, трогательно нетронутая. Как на рекламе мыла – только натуральные ингредиенты. Пустое лицо; отрешенно, наигранно непроницаемое, как у всех тогдашних воспитанных девочек. Чистая страница, что не хочет писать, но ждет, чтобы писали на ней.

Только из-за книги ее до сих пор помнят.

Лора вернулась в маленькой серебряной шкатулке вроде портсигара. Представляю, что говорили в городе, так и слышу: *«Это, конечно, уже не она, просто пепел. Невероятно, что Чейзы согласились на кремацию – они раньше такого не делали, и в лучшие дни до такого бы не унизились, впрочем, так легче, можно и закончить начатое, она ведь все равно обгорела. И все же, наверное, они захотят положить ее с семьей. Под этим большим надгробием с двумя ангелами. Ни у кого больше нет сразу двух ангелов, но ведь у Чейзов тогда денег курь не клевали. Любили пофорсить, пустить пыль в глаза, быть главнее всех. Больших ишиек изобразжали. Да уж, когда-то из кожи вон лезли».*

Все это произносится как бы голосом Рини. Она переводила нам город – мне и Лоре. На кого еще мы могли опереться?

За памятником есть свободное местечко. Вроде забронированного билета – на неопределенный срок, – так Ричард в свое время бронировал билеты в Театр королевы Александры. Это для меня, здесь я уйду в землю.

А бедняжка Эме в Торонто, на кладбище Маунт-Плезант, рядом с Гриффенами – Ричардом, Унифред, под безвкусным монументом из полированного гранита. Унифред об этом позаботилась – заявила права на Ричарда и Эме сразу же, поторопившись заказать гробы. Кто платит гробовщикам, тот и заказывает музыку. Будь ее воля, она бы меня и на похороны не пустила.

Но Лора ушла первой, когда Унифред еще не отработала свою тактику похищения трупов. Лора поедет домой, сказала я, – так и вышло. Прах я развеяла, а серебряную шкатулку сохранила. Хорошо, что не закопала: какой-нибудь поклонник обязательно бы стянул. Эти

люди ничем не брезгают. Год назад я наткнулась на одного: вооружившись совком и банкой для варенья, он сгребал с могилы грязь.

Интересно, где закончит свой путь Сабрина? Она последняя из нас. Думаю, она еще жива – иначе я бы знала. Еще неизвестно, с кем рядом она предпочтет лежать, на каком кладбище. Может, выберет место подальше от всех. Я бы ее не упрекнула.

Первый раз она сбежала из дома в тринадцать лет. Уинифред, вне себя от гнева, позволила мне, обвинив в подстрекательстве и помощи беглянке – спасибо, не сказала «похищение». Она хотела знать, у меня ли Сабрина.

– По-моему, я не обязана перед тобой отчитываться, – сказала я, чтобы ее помучить. Это справедливо: обычно правом мучить распоряжалась она. Все мои открытки, письма и подарки Сабрине на дни рождения Уинифред отсылала обратно. На свертках коренастым почерком тирана значилось: «Вернуть отправителю». – В конце концов, я ее бабушка. Она может приехать ко мне в любое время. Здесь ей всегда рады.

– Вряд ли нужно напоминать, что я ее законная опекунша.

– Раз вряд ли нужно, зачем напоминаешь?

Но Сабрина не приезжала ко мне. Никогда. Нетрудно догадаться почему. Бог знает, что ей обо мне наговорили. Ничего хорошего.

Пуговичная фабрика

Летний зной пришел всерьез и надолго, затопив город каким-то супом-пюре. Раньше была бы малярийная погода, холерная. Деревья надо мною – точно поникшие зонтики, бумага под пальцами влажна, а слова расползаются помадой на увядших губах.

В такую жару мне гулять нельзя: начинается сердцебиение. Я это отметила со злорадством. Не следует подвергать сердце таким испытаниям – особенно теперь, когда я знаю о его плачевном состоянии, однако я извращенно наслаждаюсь, словно я – уличный громила, а сердце – маленький плачущий ребенок, чью слабость я презираю.

По вечерам слышится гром – далекий стук и спотыкание, словно Бог на попойке. Я встаю пописать, возвращаюсь и верчусь на влажном белье, прислушиваясь к монотонному урчанию вентилятора. Майра говорит, мне нужен кондиционер, но я не хочу. Да и позволить себе не могу. «А платить за него кто будет?» – спрашиваю я Майру. Она, должно быть, считает, что у меня во лбу бриллиант, как у сказочной жабы.

Цель моей сегодняшней прогулки – пуговичная фабрика, я собиралась выпить там утренний кофе. Доктор предупреждал насчет кофе, но ему всего пятьдесят лет, и он бегаёт трусцой в шортах, выставив напоказ волосатые ноги. Он не знает всего – для него это, наверное, новость. Что-то меня все равно убьет – не кофе, так что-нибудь другое.

Эри-стрит изнемогала от туристов, преимущественно среднего возраста: они суют нос в сувенирные лавки, копаются в книжных магазинах – пока заняться нечем, а после обеда им ехать на летний театральный фестиваль неподалеку, где они проведут несколько приятных часов, созерцая предательства, садизм, адюльтеры и убийства. Некоторые двигались туда же, куда и я, к пуговичной фабрике – за мещанскими раритетами на память о кратком отдыхе от двадцатого века. Такие вещи Рини звала пылесборниками. И самих туристов тоже бы так называла.

В этой пестрой компании я дошла до того места, где Эри-стрит превращается в Милл-стрит и дальше идет вдоль реки Лувето. В Порт-Тикондероге две реки, Жог и Лувето – названия остались от французской фактории в месте их слияния; не то чтобы мы тут увлекались французским – мы зовем их Джог и Лавтоу. Быстрое течение Лувето стало приманкой для первых мельниц, а затем электростанций. Жог, напротив, река спокойная и глубокая, пригодная для судоходства еще на тридцать миль выше озера Эри. По ней в город доставляли известняк: отступившие внутренние моря оставили огромные залежи, с которых и началась городская промышленность. (Пермский период? Юрский? Когда-то я знала.) Большинство городских домов построены из известняка – мой в том числе.

На окраинах остались заброшенные каменоломни – глубокие квадратные или прямоугольные отверстия в камне, словно из него вырезали здания целиком. Иногда я представляю себе, как город поднимается из глубин доисторического океана, распускаясь актинией или пальцами надутой резиновой перчатки, раскрываясь толчками, как цветы на бурой зернистой пленке, что показывали в кинотеатрах – когда же это было? – еще до игровых фильмов. Любители окаменелостей рыщут по окраинам в поисках вымерших рыб, древних папоротников, коралловых завитков; если подростки хотят покурлесить, они тоже отправляются туда. Разводят костры, пьянствуют, курят наркотики и шупают друг друга, словно сами это выдумали, а по пути в город разбивают родительские машины.

Мой собственный сад за домом примыкает к ущелью Лувето, где река сужается и рушится вниз. Обрыв довольно крут – способен вызвать туман и некоторый трепет. Летом сюда на выходные приезжают туристы – бродят по тропе над обрывом или стоят на самом краю, щелкая фотоаппаратами. Из сада я вижу, как за забором проплывают их мирные белоснежные

панамы, – они меня раздражают. Обрыв оседает, место опасное, но городские власти не желают тратить деньги на ограждение – здесь считают, что если ты дурак и делаешь глупости, то получишь, что заслужил. Бумажные стаканчики из кондитерской крутятся в водоворотах; иногда там оказывается труп – и не понять, случайно упал человек, прыгнул или его столкнули – если, конечно, не осталось записки.

Пуговичная фабрика расположена на восточном берегу Лувето, в четверти мили вверх от ущелья. Несколько десятилетий фабрика стояла беспризорная – окна разбиты, крыша течет, – приют крыс и алкашей; некий комитет энергичных горожан спас ее от полного разрушения, отдав под модные лавки. Вновь разбили цветочные клумбы, песком отчистили стены, уничтожили следы времени и вандализма, но и сейчас нижние окна в темных разводах копоти после пожара, что случился шестьдесят с лишним лет назад.

Здание построено из красно-бурого кирпича, в нем большие окна из множества мелких стекол – раньше на фабриках так экономили на освещении. Довольно красивое для фабрики: лепные фестоны с розами, заостренные окна, мансардная крыша из зеленого и красного шифера. Рядом крошечная парковка. «Добро пожаловать на пуговичную фабрику» – гласит вывеска – старомодная, точно цирковая; и немного мельче: «Ночная парковка запрещена». А еще ниже яростным черным фломастером нацарапано: «Ты, блядь, не Господь Бог, и земля – не твое, блядь, шоссе». Подлинный местный штрих.

Центральный вход расширили, построили пандус для колясок, старые тяжелые двери заменили новыми из зеркального стекла с указателями: «Вход», «Выход», «Тяни», «Толкай» – четверка командиров двадцатого столетия. Внутри играет музыка, сельские скрипочки: раз-два-три – бодрый душераздирающий вальс. Над центральным залом – стеклянный потолок, пол выложен «под булыжник», недавно покрашенные зеленые скамейки и несколько кадок с сердитыми кустиками. Вокруг магазины – якобы аллея.

Голые кирпичные стены украшены увеличенными старыми фотографиями из городского архива. Первая – цитата из газеты – монреальской, не нашей, – и дата, 1899 год:

«Не стоит воображать себе мрачные адские фабрики Старой Англии. Фабрики Порт-Тикондероги стоят посреди изобилия зелени и веселых цветов; эти фабрики умиротворяют журчание ручейков; они чисты и проветрены; рабочие веселы и деятельны. Если на закате солнца смотреть с элегантного нового Юбилейного моста, что чугунной кружевной радугой изогнулся над каскадами реки Лувето, кажется, будто видишь волшебную страну – это мигают, отражаясь в сверкающих водах, огни пуговичной фабрики Чейзов».

В этой статье далеко не все ложь. Пусть недолго, но фабрика действительно процветала, и процветания хватало.

Затем фотография моего деда в сюртуке и цилиндре, с седыми бакенбардами; с кучкой других лощеных сановников он ожидает появления герцога Йоркского – тот в 1901 году путешествовал по Канаде. Вот мой отец с венком на открытии Военного мемориала – высокий серьезный мужчина с усами и повязкой на глазу; зернистая, если смотреть близко. Я отступаю, чтобы рассмотреть отца получше, стараясь заглянуть в здоровый глаз, но он на меня не смотрит – смотрит вдаль, за горизонт; спина прямая, плечи расправлены, будто перед ним расстрельная команда. Стойкий, можно сказать.

Фотография самой фабрики – 1911 года, гласит подпись. Лязгающие рычаги станков – точно лапки кузнечика, стальные винты, зубчатые колеса, поршни, что ходят взад-вперед и штампуют пуговицы; работницы склонились над длинными столами, что-то делают руками. У станков – мужчины в наглазниках и жилетах, рукава закатаны; за столами – женщины с высокими гладкими прическами и в фартуках. Считают пуговицы и раскладывают их по коробкам

или же пришивают к картонкам с нашей фамилией – по шесть, восемь или двенадцать пуговиц на картонку.

Ближе к концу зала – бар «Настоящая энчилада», с живой музыкой по субботам и пивом, как уверяют, с местных пивоварен. Деревянные столешницы – прямо на бочках, и ностальгические отдельные сосновые кабинки вдоль одной стены. В меню, выставленном в витрине – внутрь я никогда не заходила, – блюда, которые кажутся мне экзотическими: пирожки с плавленым сыром, картофельные шкурки, начо. Пропитанное жиром сырье для не самой почтенной молодежи – так говорит Майра. У нее удобный наблюдательный пункт по соседству, и, если в «Настоящей энчиладе» что-нибудь происходит, Майра всегда в курсе. По ее словам, туда ходят сутенер и наркодилер – оба среди бела дня. Она мне их показала, возбужденно при этом шепча. Сутенер в костюме-тройке напоминал брокера. У торговца наркотиками были седые усы; он носил джинсы, точно профсоюзный деятель прошлых лет.

Лавка Майры – «Пряничный домик, сувениры и товары для коллекционеров». Он пахнет сладко и пряно – бывают такие коричневые спреи; в лавке продается уйма вещей: джем в баночках с крышками из набивного ситца; подушки в виде сердечек с сухими травами внутри, пахнущие сеном; неуклюжие резные короба, изготовленные «традиционными мастерами»; стеганые одеяла, якобы сшитые меннонитами; щетки для чистки туалетов с ручками в виде ухмыляющихся уток. Так Майра представляет себе мысли горожан о сельской жизни, жизни их предков из захолустья – кусочек истории, который можно увезти домой. Прошрое, насколько я помню, никогда не было таким очаровательным и, конечно, таким чистым, но подлинную вещь из прошлого не продашь: большинство людей предпочитают прошрое без запаха.

Майра любит дарить мне сувениры из своей сокровищницы. То есть заваливает меня вещами, которые никто не покупает. У меня уже есть перекошенный плетеный венок, неполный набор деревянных салфеточных колец с ананасиками; толстенная свеча, пахнущая чем-то вроде керосина. На день рождения она подарила мне кухонные рукавицы в виде клешней омара. Не сомневаюсь, что дарила от всей души.

А может, это она меня обрабатывает: Майра – баптистка, хочет, чтобы я нашла Иисуса или, наоборот, он – меня, пока еще не поздно. Для Майриной семьи это нетипично: ее мать Рини Богом никогда не увлекалась. Было взаимное уважение; попав в беду, естественно, к нему обращаешься – как обращаются к адвокатам; но, как и с адвокатами, должна случиться очень большая беда. Иначе нет смысла его впутывать. А уж на кухне он Рини точно не был нужен, у нее и так хватало забот.

После некоторых колебаний я купила печенье в «Песочном гноме» – овсяное и шоколадное – и еще кофе в пластиковом стаканчике и села на скамейку, прихлебывая кофе и облизывая пальцы, отдыхая и слушая печально-гнусавую мелодию.

Пуговичную фабрику в начале 1870-х построил мой дедушка Бенджамин. Тогда всем стали нужны пуговицы для одежды и всего прочего: население континента росло с огромной скоростью; пуговицы можно было производить и продавать дешево; в этом-то, по словам Рини, и был шанс моего деда – и тот своего шанса не упустил, пошевелив мозгами, что даровал ему Господь.

Его предки приехали сюда из Пенсильвании в 1820-х из-за дешевой земли и возможности строить: город выгорел во время войны 1812 года, многое предстояло возводить заново. Эти люди – немцы, сектанты, что скрестились с пуританами седьмого колена, – трудолюбивый, но пылкий коктейль, породивший, помимо обычных добродетельных люмпен-фермеров, трех разъездных священников, двух неумелых спекулянтов земельными участками и мелкого рас-тратчика, – были искателями счастья с мечтательной жилкой и взором, вечно устремленным за горизонт. У деда это проявлялось в склонности к риску, хотя рисковал он лишь собой.

Его отец владел скромной мельницей, одной из первых в Порт-Тикондероге, – еще в те дни, когда мельницы работали на воде. Когда он умер от апоплексического удара – тогда это так называлось, – деду было двадцать шесть. Он унаследовал мельницу, одолжил денег и закупил в Штатах станки для пуговичного производства. Первые пуговицы делались из дерева и кости, а самые модные – из коровьего рога. Кости и рога приобретались за гроши на окрестных скотобойнях; что же касается дерева, то оно валялось повсюду, и люди его жгли, только чтобы от него избавиться. С дешевым сырьем, дешевой рабочей силой и расширяющимся рынком – как можно не преуспеть?

Мне в детстве нравились другие пуговицы, не те, что выпускались на дедовской фабрике, – крошечные перламутровые, или нежные янтарные, или из белой кожи – для дамских перчаток. Дедовские пуговицы были вроде галош среди остальной обуви, невозмутимые и практичные, для пальто, шинелей или рабочей одежды, какие-то основательные и даже грубые. Они хорошо смотрелись на длинном нижнем белье, где застежка сзади, или на ширинках. Эти пуговицы скрывали нечто висячее, ранимое, постыдное, неизбежное – необходимое, но презираемое.

Трудно представить, какие чары обнаружатся у внушек человека, выпускающего такие пуговицы, – разве что деньги. Впрочем, деньги или слух о них всегда как-то слепят, и мы с Лорой выросли с некой аурой. Никому в Порт-Тикондероге наши пуговицы не казались смешными или презренными. К пуговицам здесь относились серьезно; неудивительно – от них зависела работа слишком многих.

С годами дед купил еще несколько мельниц и тоже переоборудовал их в фабрики. На одной фабрике, трикотажной, шили нижние рубашки и комбинации; на другой – носки; на третьей делали мелкую керамику вроде пепельниц. Условиями на фабриках дед гордился; он прислушивался к жалобам, когда у кого-нибудь хватало смелости пожаловаться, и сокрушался, узнавая о несчастных случаях. Он постоянно совершенствовал механику – можно сказать, все совершенствовал. Дед первым из городских фабрикантов провел на фабрику электричество. Еще он считал, что цветочные клумбы поднимают рабочим настроение, – обычно высаживали циннии и львиный зев: они дешевые, яркие и долго цветут. Дед уверял, что женщины у него на фабрике в безопасности, как в собственных гостиных. (Он считал, у них есть гостиные. Он считал, что в этих гостиных безопасно. Ему нравилось обо всех думать хорошо.) На работе он не терпел пьянства, сквернословия и распушенности.

Во всяком случае, так говорится в книге «История предприятий Чейза», которую дед в 1903 году заказал и сам издал в зеленом кожаном переплете; на обложке, помимо названия, была золотом оттиснута его собственная честная подпись. Он дарил экземпляры этой бесполезной хроники деловым партнерам – они, должно быть, изумлялись, хотя, может, и нет. Видимо, таков был обычай, иначе бабушка Аделия никакой бы книги не допустила.

Я сидела на скамейке и грызла печенье. Огромное – с коровью лепешку, безвкусное, рассыпчатое и сальное, как теперь пекут, и конца ему не было видно. Не лучшее занятие в такую жару. У меня слегка кружилась голова – наверное, от кофе.

Я поставила чашку рядом, и тут со скамейки на землю свалилась трость. Я наклонилась за ней, но никак не могла ухватить. В результате потеряла равновесие и опрокинула кофе. Я почувствовала его через юбку – еле теплый. Когда встану, будет коричневое пятно, словно у меня недержание. Так люди подумают.

Интересно, почему в таких случаях кажется, что все только на тебя и пялятся? Обычно никто не смотрит. Кроме Майры. Должно быть, видела, как я вошла; должно быть, глаз не спускала. Выбежала из своей лавки.

– Ты белая как мел! Да на тебе лица нет! – сказала она. – Надо тут вытереть! Господи боже, ты что, всю дорогу шла пешком? Обратно сама не пойдешь! Позвоню Уолтеру – он тебя отвезет.

– Сама справлюсь, – ответила я. – Со мной все хорошо. – Но дала ей сделать, как она сказала.

Авалон

Опять кости заныли – как всегда в сырость. Ноют, будто история, – все давно закончилось, но по-прежнему отдается болью. Когда болит сильно, я не могу уснуть. Каждую ночь жажду сна, борюсь за него, но он лишь колышется передо мною темным занавесом. Есть, конечно, снотворное, но доктор не советует.

Прошлой ночью, после, кажется, долгих часов влажного верчения в постели, я встала и босиком проползла вниз, нащупывая путь в слабом свете уличного фонаря, проникавшем в окно над лестницей. Благополучно спустившись, я потащила на кухню и стала шарить в расплывчатом блеске холодильника. Ничего оттуда есть не хотелось: замызганные хвосты сельдерея, заплесневелая горбушка хлеба, подпорченный лимон. Сырный обрезок в сальной бумаге – твердый и полупрозрачный, как ногти на ногах. У меня теперь привычки отшельницы: ем что попало и от случая к случаю. Закуски украдкой, угощения и пикники тайком. Я решила, что сойдет арахисовое масло, и запустила в банку палец – зачем пачкать ложку?

Когда я стояла в кухне с банкой в руке и пальцем во рту, мне показалось, будто сейчас сюда кто-то войдет – другая женщина, невидимая, настоящая хозяйка – и спросит, какого черта я забыла у нее на кухне. Не первый раз, даже когда я делаю вполне законные бытовые вещи – чищу банан или полощу рот, – возникает ощущение, будто я что-то нарушаю.

По ночам еще сильнее ощущение, будто это чужой дом. Придерживаясь за стены, я бродила по коридору, столовой, гостиной. Мои вещи проплывали мимо в своих озерах мрака, отделенные от меня, не признающие меня хозяйкой. Я же взирала на них глазами взломщика, решая, что стоит красть, а что лучше оставить. Грабители забрали бы очевидное – бабушкин серебряный чайник, фарфор с ручной росписью. Уцелевшие ложки с монограммой. Телевизор. Ничего такого я не хочу.

После моей смерти кому-то придется все разбирать. Не сомневаюсь, что Майра справится: она считает, что унаследовала меня от Рини, и с восторгом сыграет роль семейного доверенного слуги. Я ей не завидую: любая жизнь – кучка мусора, а после смерти – особенно. Причем на удивление маленькая кучка. Убираясь за покойным, понимаешь, как мало зеленых мусорных пакетов однажды займешь сам.

Щипцы для орехов в виде крокодила, одинокая перламутровая запонка, черепаховый гребень с недостающими зубьями. Сломанная серебряная зажигалка, чашка без блюдца, столовый прибор без графинчика. Распавшийся костяк дома, тряпье, реликвии. Выброшенные на берег обломки кораблекрушения.

Сегодня Майра убедила меня купить электрический вентилятор – такой, на высокой ножке, гораздо лучше моей прежней дребезжащей крохи. Тот, который Майра имела в виду, задешево продавался в новом универмаге по ту сторону Жога. Майра меня отвезет: все равно она туда собиралась, ее совсем не затруднит. Ее способность изобретать предлоги меня удручает.

Нам пришлось проехать мимо Авалона – того, что раньше было Авалоном: теперь он выглядит печально. Валгалла⁸ – вот что это теперь такое. Какому безмозглому бюрократу пришло в голову, что Валгалла – подходящее название для дома престарелых? Насколько я помню, Валгалла – место, где оказываешься после, а не перед смертью. Но, быть может, это он и имел в виду.

Дом расположен превосходно – на восточном берегу Лувето, где она сливается с Жогом; здесь романтический вид на ущелье, да к тому же безопасный причал для катеров. Дом велик,

⁸ Валгалла – небесный чертог убитых; царство павших в бою воинов в скандинавской мифологии.

но кажется переполненным, его потеснили хлипкие бунгало, выросшие здесь после войны. На веранде сидят три пожилые женщины; та, что в инвалидном кресле, воровато курит – словно непослушный юнец в туалете. В один прекрасный день они спялят дом как пить дать.

Я не была в Авалоне с тех пор, как он превратился в дом престарелых; теперь в нем наверняка пахнет детской присыпкой, прокисшей мочой и вчерашней вареной картошкой. Лучше помнить его прежним – пусть и в мое время, когда уже вползало увядание: прохладные широкие коридоры, гладкие просторы кухни, ваза севрского фарфора с сухими лепестками, что стояла в парадном вестибюле на круглом столике вишневого дерева. Наверху, в Лориной комнате, на каминной полке выбоина – это Лора уронила подставку для дров; очень на Лору похоже. Я одна теперь это знаю. Глядя на Лору – полупрозрачная кожа, гибкость, длинная шея балерины, – все думали, она грациозна.

Авалон – не типичный известняковый дом. Тот, кто его строил, хотел необыкновенного, и потому дом сложен из округлых булыжников, скрепленных цементом. Издали Авалон кажется бородавчатым, точно кожа динозавра или колодец желаний на картинках. Мавзолей стремлений – так я его теперь называю.

Дом не особо элегантен, но в свое время считался довольно внушительным: особняк делового человека – извилистая подъездная аллея, приземистая готическая башня, большая полукруглая веранда, глядящая на обе реки; на рубеже веков на веранде в послеполуденный безжизненный зной дамам в шляпах с цветами подавали чай. Во время приемов в саду там располагались струнные квартеты, а бабушка и ее друзья давали любительские спектакли – на закате, при свете факелов. Мы с Лорой под верандой прятались. Веранда теперь прогнулась, ее нужно покрасить.

Когда-то был еще бельведер, обнесенный забором огород, несколько цветочных клумб, пруд с золотыми рыбками и стеклянная оранжерея (теперь разрушенная), где росли папоротники и фуксии, редкие хилые лимоны и кислые апельсины. В доме имелаась бильярдная, гостиная, маленькая столовая при кухне и библиотека с мраморной Медузой над камином – Медузой девятнадцатого века: непроницаемый взгляд прекрасных глаз и змеи, что мучительными мыслями, извиваясь, выползали из головы. Камин был французский; заказывали что-то другое, какого-то Диониса с виноградными лозами, но вместо него прислали Медузу. Франция слишком далеко, чтобы отсылать посылку обратно, и Медузу оставили.

Еще в доме была просторная сумрачная столовая: обои Уильяма Морриса с рисунком «Клубничный вор»⁹, люстра, увитая бронзовыми кувшинками, и три английских витража с Тристаном и Изольдой (преподнесен любовный напиток в рубиновой чаше; влюбленные, Тристан на одном колене, Изольда тоскует по нему, каскад золотистых волос – их трудно изобразить на стекле: выходит какая-то оплывшая метелка; Изольда одна, унылая, в пурпурных одеждах, рядом арфа).

Планировка и убранство осуществлялись под надзором бабушки Аделии. Она умерла до моего рождения; насколько я слышала, она – железная рука в бархатной перчатке, и воля у нее была тверже пилы для костей. А еще она была культурным человеком, что давало ей определенное моральное преимущество. Не то что сейчас; люди тогда думали, что культура делает вас лучше. Верили, что она может возвысить; ну, женщины в это верили. Они еще не видели Гитлера в опере.

Девичья фамилия Аделии была Монфор. Девушка из хорошей семьи – по крайней мере, по канадским стандартам: второе поколение англичан из Монреаля, породнившихся с французскими гугенотами. Когда-то Монфоры преуспевали – заработали на железных дорогах, – но

⁹ Уильям Моррис (1834–1896) – английский художник. В 1861 г. организовал художественно-промышленную компанию по производству декоративной мебели, тканей, обоев и т. д. Его узор для текстиля «Клубничный вор», изображающий дроздов, ворующих клубнику, пользовался огромной популярностью.

из-за рискованных спекуляций и собственной инерции уже катились по наклонной. Поэтому, когда время стало поджимать, а подходящий муж все не объявлялся, Аделия вышла замуж за деньги – грубые деньги, пуговичные. Предполагалось, что она их рафинирует – как масло.

(Она не выходила замуж – ее выдали, объясняла Рини, раскатывая тесто для имбирного печенья. Обо всем договорились родные. Обычная практика в таких семьях, и кто решится утверждать, что это лучше или хуже собственного выбора? Аделия Монфор исполнила свой долг, и ей еще повезло: она засиделась в девках – ей, должно быть, стукнуло двадцать три, а в те времена это было уже чересчур.)

У меня есть фотография деда и бабушки, сделанная вскоре после свадьбы, – в серебряной рамке с цветами выюнка. Они сфотографировались на фоне бархатного занавеса с бахромой и двух папоротников на подставках. Бабушка Аделия сидит, откинувшись в кресле: красивая женщина с тяжелыми веками, на ней пышное платье, в глубоком кружевном вырезе – длинная двойная нитка жемчуга, руки вялы, точно выпотрошенные куры. Дедушка Бенджамин сидит за ней в официальном костюме, солидный, но смущенный, будто его нарядили специально для этого случая. Оба словно затянуты в корсеты.

В подходящем возрасте, лет в тринадцать-четырнадцать, я фантазировала про Аделию. Глядя ночью в окно, на лужайки и посеребренные луной клумбы, я словно видела, как она в белом кружевном платье задумчиво бредет по саду. Я придумала ей томную, пресыщенную, слегка насмешливую улыбку. А потом и любовника. Они встречались у оранжереи, давно заброшенной: мой отец не интересовался теплицами с апельсиновыми деревьями. Но в воображении я оранжерею возродила и насадила цветами. Орхидеями или камелиями... (Про камелии я читала, но никогда их не видела.) Бабушка с любовником исчезали в оранжерее – и делали что? Я не знала.

На самом деле у Аделии не было шансов завести любовника. Слишком мал городок, слишком провинциальны нравы, а Аделии было что терять. Она была не дура. Кроме того, не имела собственных денег.

Как хозяйка и домоправительница Аделия полностью устраивала Бенджамина Чейза. Она гордилась своим вкусом, и дедушка на нее полагался – помимо прочего, на ее вкусе он и женился. Ему стукнуло сорок; он усердно трудился, чтобы сколотить состояние, и теперь хотел вкусить плодов богатства: молодая жена следила за его гардеробом и насмехалась над его манерами. Он по-своему тоже хотел культуры – хотя бы конкретных ее свидетельств. Хотел настоящий фарфор.

И получил его, а в придачу – обеды из двенадцати блюд: в начале трапезы – сельдереи и соленые орешки, под конец – шоколадные конфеты. Консоме, тефтели, жульен, жаркое, сыр, фрукты, тепличный виноград в многоэтажной хрустальной вазе. Теперь мне кажется – еда как в вагоне-ресторане. Или на океанском лайнере. В Порт-Тикондерогу приезжали премьер-министры – в городе тогда жили несколько известных промышленников, чью поддержку очень ценили политические партии, – и эти премьер-министры останавливались в Авалоне. В библиотеке в позолоченных рамках висели фотографии дедушки Бенджамина с тремя сменявшимися друг друга премьер-министрами – сэром Джоном Спэрроу Томпсоном, сэром Маккензи Бауэллом, сэром Чарлзом Таппером¹⁰. Видимо, им пришлось по душе здешние обеды.

Аделии следовало эти обеды придумать и заказать, а потом скрывать, как она сама их поглощает. По обычаю, при гостях она лишь ковырялась в еде: жевать и глотать – такая плотская вульгарность. Думаю, после обеда ей в комнату приносили полный поднос. И она ела прямо руками.

¹⁰ Сэр Джон Спэрроу Томпсон (1845–1894) занимал пост премьер-министра Канады в 1892–1894 гг., сэр Маккензи Бауэлл (1823–1917) – в 1894–1896 гг., сэр Чарлз Таппер (1821–1915) – в 1896 г.

Строительство дома закончилось в 1889 году, тогда же Аделия нарекла его Авалоном. Название взяла из Теннисона:

Остров Авалон,
Где не бывает ни дождя, ни снега,
Ни воющего ветра. Он лежит
Весь в зелени, счастливый и прекрасный,
В густых садах и рощах утопая...¹¹

Эти строки напечатали на рождественских открытках Аделии слева внутри. (По английским стандартам, Теннисон уже устарел: набирал популярность Оскар Уайльд – среди молодежи, по крайней мере; но ведь в Порт-Тикондероге все несколько устарело.)

Люди – горожане – над стихами, должно быть, посмеивались: даже те, что со светскими претензиями, называли бабушку Ее Светлость или Герцогиня, однако, не получив приглашения, были безутешны. Об открытке они, наверное, говорили: *«Да, с дождем и снегом ей не повезло. Может, поговорит об этом с Богом»*. А на фабриках, наверное, так: *«Ты видал в округе густые сады, кроме как у нее под юбкой?»* Я их манеру знаю – вряд ли она сильно изменилась.

Аделия, конечно, морочила голову, но, по-моему, не только в этом дело. В Авалон король Артур отправился умирать. Судя по выбранному названию, Аделия чувствовала себя в безысходном изгнании: усилием воли она могла вызвать к жизни фальшивое факсимиле острова блаженства, но реальность была иной. Аделия хотела стать хозяйкой салона, жить среди художников, поэтов, композиторов, ученых и всех прочих, как ее троюродные братья в Англии, к которым она ездила, когда в семье еще водились деньги. Восхитительная жизнь с просторными лужайками.

Но в Порт-Тикондероге таких людей днем с огнем не найти, а путешествовать Бенджамин отказывался. Нельзя оставлять без присмотра фабрики, говорил он. Скорее всего, просто не хотел, чтобы насмехались над пуговицами, чтобы перед ним лежали столовые приборы неведомого назначения и чтобы Аделии стало за него стыдно.

Аделия не решалась отправиться без него – ни в Европу, ни еще куда. Слишком велико искушение не возвращаться домой. Сдутым дирижаблем плыть, постепенно растрачивая деньги, легкой добычей для негодяев и прохвостов, исчезая в топи неприличных тем для разговора. С таким декольте она могла оказаться влюбчивой.

Помимо прочего, Аделия увлекалась скульптурой. По бокам оранжереи стояли два каменных сфинкса (мы с Лорой часто сидели на них верхом); из-за каменной скамьи на нас с вождением взирал резвящийся фавн с торчащими ушами и огромной виноградной гроздью на причинном месте, точно фирменным знаком; а возле пруда сидела нимфа – скромная девушка с юными грудками, туго скрученные мраморные волосы падают на плечо, а ножкой она пробует воду. Мы там ели яблоки, наблюдая, как золотая рыбка пощипывает ей пальчики.

(Эти скульптуры считались «подлинниками», только подлинниками чего? И как они попали к Аделии? Подозреваю, не обошлось без мошенничества: сомнительный европейский посредник купил их за бесценок, подделал происхождение, за большие деньги сплавил их за океан, а разницу прикарманил, справедливо решив, что богатая американка – думаю, так он ее называл – ничего не поймет.)

¹¹ Альфред, лорд Теннисон (1809–1892) – английский поэт викторианского периода. Приведенные строки – цитата из его цикла поэм о короле Артуре и рыцарях Круглого стола «Королевские идиллии» (1859–1885). Перевод В. Лунина.

Семейное надгробие с двумя ангелами тоже замыслила Аделия. Она хотела, чтобы дедушка перенес туда прах своих предков, чтобы получилась как бы династия, но у дедушки так и не дошли руки. И получилось, что первой там похоронили ее.

Вздыхнул ли дедушка Бенджамин с облегчением, когда Аделия умерла? Должно быть, он устал от сознания, что не отвечает ее строгим требованиям, хотя сомнений нет: он восхищался ею, почти благоговел. К примеру, не позволил ничего менять в Авалоне: не перевесили ни одной картины, ничего из мебели не переставили. Возможно, дом он считал настоящим памятником ей.

И потому нас с Лорой воспитывала она. Мы выросли в ее доме – в ее представлении о себе, иными словами. И в ее представлении о том, какими нам следует стать. Ее на свете уже не было, и спорить было не с кем.

Мой отец был старшим из трех сыновей. Все получили имена в соответствии с бабушкиными понятиями о благородных именах: Норвал, Эдгар и Персивал. Артуровские веяния с примесью Вагнера. Полагаю, братьям стоило радоваться, что они не стали Ульриком, Зигмундом или Утером. Дедушка Бенджамин души не чаял в сыновьях и мечтал, что те изучат пуговичный бизнес, но у Аделии имелись более возвышенные цели. Она определила сыновей в Тринити-колледж в Порт-Хоуп, где их не испортит Бенджамин со своими станками. От денег мужа была польза, это она ценила, но предпочитала закрывать глаза на их источник.

Сыновья приезжали домой на летние каникулы. В частной школе, а затем в университете они научились добродушно презирать отца, не умевшего читать по-латыни – даже так плохо, как они. Они говорили о людях, которых он не знал, пели песни, которых он никогда не слышал, рассказывали анекдоты, которых он не понимал. В лунные ночи они плавали на его яхте «Наяда» – очередной тоскливый готицизм Аделии. Они играли на мандолине (Эдгар) и банджо (Персивал), украдкой пили пиво и путали снасти, а отцу приходилось распутывать. Сыновья разъезжали по округе на одном из двух новых отцовских автомобилей, хотя местные дороги по полгода никуда не годились: сначала снег, потом слякоть, потом пыль – особо не поездишь. Ходили слухи о каких-то прошмандовках, с которыми путались два младших брата, и о каких-то деньгах – что ж, вполне пристойно откупиться от этих леди, пусть они приведут себя в порядок, никто ведь не хотел, чтобы вокруг ползало множество незаконнорожденных Чейзиков; но девушки были не из нашего города, поэтому братьев никто не осуждал, скорее, наоборот – мужчины, по крайней мере. Люди посмеивались над ними, но не слишком: их считали вполне серьезными и притом свойскими. Эдгара и Персивала звали Эдди и Перси, а вот моего отца, более робкого и важного, всегда называли Норвал. Все они были красивыми юношами, немного повесами, как и полагается в юности. А вообще, что значит «повеса»?

– Они были негодники, – сказала мне Рини, – но не негодяи.

– А какая разница? – спросила я.

– Надеюсь, ты никогда не узнаешь, – вздохнула она.

Аделия умерла в 1913 году от рака – неупоминаемого и потому, скорее всего, гинекологического. В последний месяц ее болезни кухарке в помощь пригласили мать Рини, а вместе с ней и саму Рини – ей тогда было тринадцать, и все это произвело на нее тягостное впечатление. «Такие сильные боли, что приходилось каждые четыре часа колоть морфий, медсестры сидели тут круглосуточно. Но она не хотела лежать в постели, крепилась. Все время на ногах, прекрасно одета, как раньше, хотя понятно было, что она уже не в своем уме. Я видела, как она бродит по саду в чем-то бледном и в большой шляпе с вуалью. Отлично держалась, а мужеству ее могли позавидовать многие мужчины, вот она какая была. В конце ее стали привязывать к кровати – для ее же пользы. Ваш дедушка был убит, из него просто все соки это высосало». Потом, когда я стала менее чувствительна, Рини внесла в свой рассказ сдавленные крики, стоны

и предсмертные обеты; чего она добивалась, осталось для меня загадкой. Может, хотела, чтобы и я проявляла такую же стойкость – то же презрение к боли, то же терпение, – или она просто наслаждалась душераздирающими подробностями? Без сомнения, и то и другое.

Когда Аделия умерла, три мальчика уже выросли. Тосковали они по матери, оплакивали ее? Конечно. Разве можно было не испытывать благодарности за ее бесконечную заботу? Однако она держала их на коротком поводке – крепко, как только умела. Когда мать зарыли в землю, они, должно быть, почувствовали себя свободнее.

Все трое не хотели заниматься пуговичным бизнесом: они унаследовали от матери презрение к нему, не унаследовав, правда, материнского реализма. Что деньги не растут на деревьях, они знали и притом имели ряд соображений насчет того, где же деньги в таком случае растут. Норвал, мой отец, решил, что лучше всего изучить юриспруденцию и со временем заняться политикой: у него были планы по переустройству страны. Двое других хотели путешествовать: как только Перси закончил колледж, они собрались в Южную Америку на поиски золота. Их манила открытая дорога.

А кто же тогда возглавит фабрики Чейзов? Выходит, не будет никаких «Чейза и сыновей»? И зачем тогда трудился не покладая рук Бенджамин? К тому времени он убедил себя, что делал это из каких-то иных, высших соображений помимо своих стремлений, своих желаний. Он породил наследие и хотел передавать его дальше, от поколения к поколению.

Думаю, в речах отца за обедом, за бокалом портвейна, не единожды звучал упрек. Но юноши упорствовали. Если молодые люди не хотят посвятить жизнь изготовлению пуговиц, их не заставишь. Они не собирались огорчать отца – во всяком случае, намеренно, – но взваливать на плечи тяжелую изматывающую ношу мирского им тоже не хотелось.

Приданое

Новый вентилятор уже куплен. Детали прислали в большой картонной коробке, и Уолтер его собрал. Приволок набор инструментов и все прикрутил куда надо. А закончив работу, сказал:

– Теперь она в порядке.

Старые лодки для Уолтера – женского рода, как и сломанные автомобильные моторы, перегоревшие лампы и радиоприемники – самые разные вещи, которые искусный мужчина с инструментами починит, и они заработают как новые. Почему меня это так обнадеживает? Может, в детском, доверчивом закоулке сознания я уверена, что Уолтер, вытащив клещи и гаечный ключ, может починить и меня.

Большой вентилятор установили в спальне. Старый же я снесла вниз, на веранду, и он теперь дует мне в шею. Приятно, только нервирует: будто на плечо мягко легла холодная воздушная рука. Так я и сижу за деревянным столом, проветриваюсь и скриплю пером. Нет, неправильно: перья больше не скрипят. Слова гладко и почти беззвучно текут по странице – трудно только выгонять их по руке, выдавливать из пальцев.

Уже почти сумерки. Ни ветерка, журчанье порогов, что оmyвает сад, – как долгий вздох. Голубые цветы растворились во мгле, красные почернели, а белые сверкают, фосфоресцируют. Тюльпаны сбросили лепестки, и торчат только голые пестики – черные, похожие на хоботки, эротичные. Пионам почти конец: стоят неряшливые и поникшие, будто мокрые носовые платки; зато распустились лилии и флоксы. Жасмин осыпался, и трава под ним покрыта белым конфетти.

В июле 1914 года моя мать вышла замуж за моего отца. Мне казалось, что, если учесть обстоятельства, этому требуются пояснения.

Больше всего я рассчитывала на Рини. В том возрасте, когда начинаешь интересоваться подобными вещами – десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать лет, – я частенько сидела на кухне и взламывала Рини, точно замок.

Ей не было семнадцати, когда она насовсем пришла работать в Авалон из домика на южном берегу Жога, где жили фабричные. Она шотландка и ирландка, говорила Рини, – не католичка, конечно, добавляла она, подразумевая, что таковыми были ее бабки. Вначале Рини была моей няней, но после множества приходов и уходов слуг она стала для нас всем на свете. Сколько ей было лет? *Не твоего ума дело. Достаточно стара и лучше вас понимаю, что к чему. Хватит об этом.* Когда мы слишком приставали с расспросами о ее жизни, Рини замыкалась. *Я себе самой дорога*, – говорила она. Какой скромностью это казалось мне тогда. Какой скупостью – сейчас.

Но она знала наши семейные байки – по крайней мере, некоторые. Ее рассказы зависели от моего возраста, а также от степени ее расстройства. Но я все же собрала немало фрагментов и смогла воссоздать прошлое; должно быть, результат похож на реальность не больше, чем мозаичный портрет на оригинал. Впрочем, реализм меня не привлекал: я жаждала ярких картин с четкими контурами, лишенных двусмысленности, – этого хотят все дети в историях о родителях. Почтовых открыток.

Отец сделал матери предложение (говорила Рини) на катке. Выше порогов на реке была бухточка, старая мельничная запруда, – течение там было слабее. В холодные зимы вода замерзала достаточно прочно, можно было кататься на коньках. Здесь молодежь из церковных школ устраивала свои сборища, которые назывались не сборищами, а прогулками.

Мать была методисткой, а отец – англиканцем; то есть социально она была ниже его – в то время с такими вещами считались. (Будь Аделия жива, она не допустила бы этого брака,

решила я позже. Для нее мать стояла слишком низко на социальной лестнице и, кроме того, была слишком скромна, слишком серьезна, слишком провинциальна. Аделия отослала бы отца в Монреаль или свела бы со светской девицей. Получше одетой.)

Мать была молода, всего восемнадцать, но, говорила Рини, не глупа и не легкомысленна. Она работала учительницей: в то время можно было учить, если тебе еще нет двадцати. Ей не обязательно было работать: ее отец был главным юристом предприятий Чейза, и жили они в достатке. Но, как и ее мать, умершая, когда дочери было девять, моя мать всерьез относилась к религии. Она верила, что нужно помогать тем, кому меньше повезло в жизни. Она взялась учить бедняков – вроде миссионерства такого, восхищенно говорила Рини. (Рини часто восхищалась теми поступками матери, которые самой Рини казались глупостью. А бедных, среди которых выросла, Рини считала лентяями. Их можно учить до посинения, говорила она, только это обычно как в стену лбом биться. *«Но твоя мать, благослови Господь ее добрую душу, никогда этого не понимала».*)

Есть снимок матери в педагогическом училище в Лондоне, провинция Онтарио. На фотографии еще две девушки; все три стоят на крыльце училища и смеются, сплетя руки. По бокам снежные сугробы, с крыши свисают сосульки. На маме котиковая шубка, из-под шапочки выбиваются тонкие пряди. Должно быть, она тогда уже носила пенсне, сменившееся совиными очками, которые я помню: мать рано стала близорукой, но на фотографии пенсне нет. Одна ножка в обшитом мехом ботинке выставлена вперед, лодыжка кокетливо повернута. У нее смелое, даже отважное лицо, как у мальчишки-пирата.

Окончив училище, она уехала преподавать далеко на северо-запад, в глушь, где в местной школе был всего один класс. Она пережила настоящий шок – страшная нищета, невежество и вши. Детей зашивали в нижнее белье осенью, а весной распарывали – это самая отвратительная деталь, что я помню. *Конечно*, говорила Рини, *такой леди, как твоя мать, там было не место.*

Но мать чувствовала, что делает нечто полезное, *помогает* – пусть лишь несколькими несчастным детям, или надеялась, что это так; а потом наступили рождественские каникулы, и она приехала домой. Все обратили внимание на ее бледность и худобу и сочли, что ей не хватает румянца. Вот так она оказалась на катке, на льду замерзшей бухточки, в обществе моего отца. И он, опустившись на одно колено, сначала зашнуровал ей ботинки.

Они были знакомы и раньше – через отцов. Бывало, чинно встречались. Оба играли в последнем садовом спектакле Аделии: он Фердинанда, а она Миранду в выпотрошенной версии «Бури», где осталось минимум секса и Калибана. Рини рассказывала, что мама была в желто-розовом платье и с венком из роз, и она так сладостно произносила слова – прямо ангел. *«И как хорош тот новый мир, где есть такие люди»*¹². И этот плывущий взгляд ее сияющих чистых близоруких глаз. Понятно, как все началось.

Отец легко мог найти невесту с деньгами, но, судя по всему, хотел верную подругу, на которую можно положиться. Несмотря на веселый нрав – оказывается, он когда-то обладал веселым нравом, – отец был серьезным юношей, говорила Рини, подразумевая, что иначе мать бы ему отказала. Они оба, каждый по-своему, были искренни, хотели чего-то добиться, изменить мир к лучшему. Какие заманчивые, какие опасные мысли!

Они объехали каток несколько раз, и отец предложил маме выйти за него замуж. Думаю, он это сделал довольно неуклюже, но в то время неуклюжесть мужчины считалась признаком искренности. Их плечи и бедра соприкасались, но друг на друга они не взглянули: катились бок о бок, правые руки скрещены впереди, левые – за спиной. (В чем тогда была мама? Рини и это знала. Синий вязаный шарф, шотландский берет и вязаные перчатки в тон. Мама сама их связала. Темно-зеленое зимнее полупальто. В рукаве носовой платок – она его никогда не забывала в отличие от некоторых знакомых Рини.)

¹² Перевод М. Донского.

Что сделала моя мать в этот ответственный момент? Не поднимая глаз, она рассматривала лед. Она не ответила сразу. Это означало: да.

Вокруг заснеженные камни и белые сосульки – все белым-бело. Под ногами лед, тоже припорошенный белым, а под ним речная вода, водовороты и подводные течения, темная вода, но незримая. Так представляла я те времена – до нашего с Лорой рождения – чистыми, невинными, с виду надежными, но все же под ногами – тонкий лед. Подспудно потихоньку бурлило невысказанное.

Потом кольцо, объявления в газетах, а когда мама вернулась, выполнив свой долг и закончив учебный год, – официальные чаепития. Они были роскошны: сэндвичи со спаржей, сэндвичи с водяным крессом, три вида пирожных – светлые, темные, фруктовые; серебряные чайные сервизы, розы на столе – белые или розовые, ну, может, бледно-желтые – только не красные. Красные розы для помолвок не годятся. Почему? *Вырастешь – узнаешь*, сказала Рини.

Потом приданое. Рини с удовольствием перечисляла вещи: ночные рубашки, пенюары, какое на них было кружево, наволочки с монограммами, простыни и нижние юбки. Она вспоминала буфеты, комоды, бельевые шкафы, какие вещи туда аккуратно складывались. И ни слова о телах, что со временем облачатся в эти ткани: в представлении Рини свадьбы – прежде всего вопрос одежды, по крайней мере – снаружи.

Потом надо было еще составить список гостей, написать приглашения, выбрать цветы и так далее – до самой свадьбы.

А потом, после свадьбы, началась война. Любовь, замужество, затем катастрофа. По версии Рини, это казалось неизбежным.

Война началась в августе 1914 года, вскоре после свадьбы моих родителей. Все три брата тут же добровольно поступили на военную службу – без вопросов. Невероятно, если вдуматься – без вопросов. Есть фотография великолепной троицы в военной форме: что-то наивное в насупленных бровях, усы еле пробиваются, беззаботные улыбки и решительные взгляды – изображают солдат, которыми пока не стали. Отец – самый высокий. Эта фотография всегда стояла у него на письменном столе.

Они вступили в Королевский Канадский полк, куда из Порт-Тикондероги шли все. Почти сразу же их отправили на Бермуды для усиления размещенного там британского полка, и первый год войны они маршировали на парадах и играли в крикет. Но, судя по письмам, рвались в бой.

Дедушка Бенджамин жадно читал эти письма. Время шло, ни одна из сторон победу не одерживала, и он все больше нервничал и сомневался. Все шло не так, как надо. По иронии судьбы бизнес его процветал. Дедушка недавно ввел целлулоид и резину – для пуговиц то есть; политические контакты, появившиеся благодаря Аделии, позволяли дедушкиным фабрикам получать военные заказы во множестве. Дедушка оставался честен, как всегда, и никогда не поставлял заведомо негодный товар – в этом смысле он не наживался на войне. Но нельзя сказать, что совсем не нажился.

Война для пуговичного производства полезна. На войне теряется куча пуговиц, и их нужно возмещать – целыми коробками, целыми грузовиками. Пуговицы разбивались на мелкие кусочки, их затапывали в землю, они плавились в огне. То же самое с нижним бельем. С финансовой точки зрения война – сверхъестественный костер, алхимический пожар, и дым его стремительно обращается в деньги. Во всяком случае, для моего деда. Но это не радовало его душу и не поддерживало в нем чувство правоты, как оно случилось бы, будь он помоложе и посамодовольнее. Он хотел, чтобы сыновья вернулись. Хотя пока ничего опасного не происходило: сыновья оставались на Бермудах и маршировали на солнышке.

Сразу после медового месяца (проведенного в Фингер-Лейкс, штат Нью-Йорк) мои родители, еще не обзаведшись собственным домом, поселились в Авалоне, и мама осталась там вести дедово хозяйство. Прислуги было мало: те, кто здоровее, работали на фабрике или ушли в армию; кроме того, хозяева Авалона понимали, что должны показывать пример, сократив расходы. Мать настаивала на простой пище: тушеная говядина по средам, запеченные бобы в воскресный ужин, что вполне устраивало деда. К деликатесам Аделии он так и не привык.

В августе 1915 года Королевский Канадский полк вернули назад в Галифакс, чтобы подготовиться к отправке во Францию. Полк находился в порту с неделю – запасались продовольствием, вербовали новобранцев и меняли тропическую военную форму на теплое обмундирование. Личному составу выдали винтовки Росса, которые позже увязли в грязи, оставив солдат беспомощными¹³.

Мама на поезде поехала в Галифакс провожать отца. Поезд был набит военными, все спальные места заняты, и она всю дорогу сидела. В проходах торчали ноги, узлы, плевательницы, кто-то кашлял, кто-то храпел – явно пьяным храпом. Мама глядела на юные лица вокруг, и война становилась реальной – не идеей, а физическим присутствием. Ее молодого мужа могли убить. Его тело могло исчезнуть, разорванное на куски, принесенное в жертву, которая – теперь это стало ясно – неизбежна. С этим осознанием пришли отчаяние и сжимающий сердце ужас, но одновременно – я в этом уверена – и суровая гордость.

Не знаю, где мои родители жили в Галифаксе и как долго. В респектабельном отеле или в дешевой гостинице, а может, и в ночлежке – жилье тогда было нарасхват. Несколько дней, одну ночь или всего пару часов? Что произошло между ними, что они говорили? Думаю, ничего необычного, но все-таки что? Уже не узнать. Затем пароход – «Каледония» – отчалил с полком на борту, и мама вместе с другими женами стояла на пристани и со слезами на глазах махала вслед. Хотя, может, и без слез: она сочла бы это слабостью.

«Где-то во Франции. Не могу описать, что здесь происходит, – писал отец, – и потому не буду пытаться. Нам остается лишь верить, что в результате этой войны все станет лучше и цивилизация будет спасена. Человеческие потери (здесь слово вымарано) бесчисленны. Раньше я и не догадывался, на что способны люди. То, что приходится выносить, выше (слово вымарано). Я каждый день вспоминаю вас всех, и особенно тебя, моя дорогая Лилиана».

Мать развила в Авалоне бурную деятельность. Она верила в общественное служение и считала, что следует засучить рукава и помочь армии. Так был организован Кружок поддержки – он собирал деньги, устраивая благотворительные базары. На вырученные средства покупались табак и конфеты для солдат. На время базаров распахивались двери Авалона, отчего (по словам Рини) страдал паркет. Помимо базаров, члены кружка каждый вторник вязали в гостиную вещи для бойцов; начинающие – салфетки, уже поднаторевшие вязальщицы – шарфы, а самые опытные – шлемы и перчатки. Вскоре к ним прибавились еще добровольцы, которые работали по четвергам, – женщины постарше и попроще, жившие на юге от Жога, они могли вязать даже во сне. Они вязали детскую одежду для армян – говорили, что они голодают, – и для некой организации под названием «Заморские эмигранты». После двух часов вязания в гостиной подавали скромный чай, а Тристан и Изольда утомленно взирали сверху.

Когда в городе стали появляться искалеченные солдаты – на улицах и в госпиталях ближайших городов (в Порт-Тикондероге своей больницы еще не было), мать их навещала. Она выбирала самые тяжелые случаи – мужчин, которые (так говорила Рини) вряд ли победили бы в конкурсе красоты; после этих посещений мать возвращалась домой потрясенная и обес-

¹³ Винтовки Росса были на вооружении у всех канадских частей, в Первую мировую войну участвовавших в европейских боях. Эти винтовки успешно использовались снайперами, однако в условиях позиционной войны доказали свою несостоятельность: их механизм оказался слишком чувствителен к грязи, неизбежной в полевых условиях, а при стрельбе от оружия отваливался штык. В 1916 г. винтовки заменили на оружие «Ли-Энфилд».

силенная, а иногда даже плакала на кухне за чашкой какао, приготовленного Рини. Та рассказывала, что мать не щадила себя. Гробила свое здоровье. Выбивалась из сил, и это при том, что была в положении.

Как добродетельно было тогда выбиваться из сил, не щадить себя, гробить здоровье! Никто не рождается таким самоотверженным: это достигается жесткой самодисциплиной, подавлением природных инстинктов. Сейчас этот секрет, видимо, утерян. А может, я и не пыталась, пострадав от того, как это сказалось на матери.

Что до Лоры, то и она самоотверженной не была. Совсем нет. Она была тонкокожей, а это совсем другое.

Я родилась в начале июня 1916 года. Вскоре после этого при артиллерийском обстреле под Ипром погиб Перси, а в июле на Сомме¹⁴ убили Эдди. Во всяком случае, решили, что он мертв: там, где его в последний раз видели, зияла огромная воронка. Мать тяжело перенесла эти известия, но еще тяжелее было деду. В августе у него случился инсульт, и дед с трудом говорил и все забывал.

Мать неофициально взяла управление фабриками в свои руки. Стала связующим звеном между дедушкой (утверждалось, что он выздоравливает) и всеми остальными, ежедневно встречалась с его секретарем и фабричными мастерами. Одна мать понимала, что говорит дед, или, по крайней мере, уверяла, что понимает, и потому стала его переводчицей; только ей позволялось держать его руку, и она помогала ему ставить подпись; кто знает, не поступала ли она порой по собственному разумению?

Не то чтобы вовсе обходилось без проблем. Когда началась война, одну шестую фабричных составляли женщины. К концу войны их стало две трети. Мужчины – старые, полуинвалиды и другие, почему-либо не годившиеся для армии. Их возмущало женское господство, они ворчали или непристойно шутили; женщины, в свою очередь, считали мужчин слабаками и лодырями и презрения своего не скрывали. Естественный порядок вещей (каким представляла его моя мать) нарушился. Но рабочим платили хорошее жалованье, деньги текли, так что в целом мать справлялась.

Я представляю, как дедушка сидит вечером в библиотеке за письменным столом красного дерева, сидит в своем зеленом кожаном кресле с медными гвоздиками. Его пальцы сплетены – здоровая рука с недвижимой. Он вслушивается. Дверь приоткрыта, за ней тень. Он говорит: «Войдите» – хочет сказать, – но никто не входит и не отвечает.

Появляется бесцеремонная сиделка. Спрашивает, что это с ним – почему он сидит тут один в темноте. Он слышит звуки, но это не слова – скорее, воронье карканье; не отвечает. Сестра берет его под руку, легко поднимает с кресла, волочет в спальню. Ее белые юбки хрустят. Он слышит, как сухой ветер гуляет в заросших сорняками полях. Слышит, как шепчет снег.

Понимал ли он, что сыновья погибли? Ждал ли их домой живыми и невредимыми? А осуществись его желание, быть может, конец его оказался бы еще печальнее? Возможно – так часто бывает, – но подобные мысли не приносят утешения.

¹⁴ Операция на реке Сомма (1 июля – 18 ноября 1916 г.) стала одной из крупнейших операций за всю Первую мировую войну. В результате нее войскам Антанты удалось овладеть некоторыми важными позициями, однако за четыре с половиной месяца решительного успеха не добилась ни одна из сторон.

Граммофон

Вчера вечером я по привычке смотрела метеоканал. В мире повсюду наводнения: вздымаются бурные воды, проплывают раздувшиеся коровы, те, кто уцелел, сгрудились на крышах. Тысячи не уцелели. Причиной всему глобальное потепление: говорят, пора перестать жечь все подряд. Бензин, газ, целые леса. Но люди не остановятся. Их, как обычно, подстегивают жадность и голод.

Так о чем это я? Возвращаюсь на страницу назад: война еще свирепствует. *Свирепствует* – так раньше говорили про войну; да и теперь, насколько мне известно, говорят. Но вот на этой, пока еще чистой, странице я положу конец войне – сама, одной лишь черной шариковой ручкой. Всего-то нужно написать: *1918 год. 11 ноября. Перемирие.*

Ну вот. Все кончено. Пушки молчат. Оставшиеся в живых смотрят в небо, их лица грязны, одежда промокла; они выползают из окопов и вонючих нор. Обе стороны чувствуют, что проиграли. Повсюду – здесь и за океаном, в городах и деревнях, разом начинают звонить церковные колокола. (Я помню этот колокольный звон – одно из моих первых воспоминаний. Странное впечатление – воздух полон звуков и одновременно какой-то пустой. Рини вывела меня на улицу послушать. По ее лицу текли слезы. Слава богу, сказала она. День был прохладный, опавшие листья подернулись инеем, пруд затянуло ледяной корочкой. Я разбила ее палкой. А мама где была?)

Отца ранило при Сомме, но он вылечился и получил звание второго лейтенанта¹⁵. Потом его ранило еще раз на хребте Вими¹⁶, теперь легко, и его произвели в капитаны. В лесу Бурлон¹⁷ отец получил третье ранение, очень серьезное. Когда война кончилась, он как раз долечивался в Англии.

Он пропустил торжества по случаю возвращения войск в Галифакс, парады победы и все прочее, зато в Порт-Тикондероге его ждал особый прием. Поезд остановился. Разразились аплодисменты. Множество рук потянулось, чтобы помочь отцу сойти, но тут же застыли. Появился отец. Один глаз выбит, одна нога волочится. Лицо изможденное, морщинистое; лицо фанатика.

Расставания убийственны, но встречи, бесспорно, хуже. Живой человек неспособен соперничать с яркой тенью, отброшенной его отсутствием. Время и расстояние сглаживают шероховатости; но вот любимый возвращается, и при безжалостном свете полудня видны все прыщики и поры, все морщины и волосы.

Итак, мать и отец. Разве могли они искупить свою вину за такие перемены? За то, что не оказались теми, кого ожидали увидеть? Как тут обойтись без недовольства? Недовольства молчаливого и несправедливого, потому что винить некого – никого в отдельности не обвинишь. У войны нет лица. Разве можно винить ураган?

И вот они стоят на платформе. Играет городской оркестр – главным образом духовые. На отце военная форма; медали – точно дыры от пуль, и сквозь них тускло поблескивает его настоящее металлическое тело. По бокам – его невидимые братья, два потерянных мальчика – он знает, что потерял их. Мать надела свое лучшее платье с поясом и лацканами и шляпку с жесткой лентой. Она робко улыбается. Никто не понимает, что делать. Фотовспышка выхватывает их из толпы: у обоих такой вид, точно пойманы с поличным. У отца на правом глазу –

¹⁵ Низшее офицерское звание в канадских сухопутных войсках.

¹⁶ Канадские войска заняли район Вими в результате сражения 9—12 апреля 1917 г.; сражение было одной из составляющих битвы при Аррасе – крупной наступательной операции британской армии (9 апреля – 16 мая 1917 г.).

¹⁷ Сражение в лесу Бурлон произошло в последние месяцы Первой мировой войны, во время Стодневного наступления (8 августа – 11 ноября 1918 г.).

черная повязка. Левый глаз мрачно сверкает. Еще не видно, что под повязкой – паутина рубцов, брошенная глазом-пауком.

«Наследник Чейза вернулся героем», трубят газеты. Это уже из другой оперы: теперь мой отец наследник – у него нет ни отца, ни братьев. В его руках – все королевство. На ощупь оно – как тина.

Плакала ли мать? Возможно. Они, должно быть, неловко расцеловались, будто на благотворительной лотерее, где он купил пустой билет. Он помнил другую, не эту деловую, измученную, похожую на старую деву женщину с пенсне на серебряной цепочке. Они стали чужими, а может – наверное, подумали они, – были чужими всегда. Как безжалостен свет. Как они составились. Ничего не осталось от юноши, что однажды, почтительно преклонив колено, опустился на лед, чтобы зашнуровать ей ботинки, или от девушки, мило принявшей эту услугу.

И еще кое-что, подобно мечу, легло меж ними. Разумеется, у него были другие женщины – из тех, что ошииваются возле солдат, пользуясь случаем. Скажем, шлюхи – не станем употреблять слово, которое никогда не произнесла бы моя мать. Лишь только отец ее обнял, она, должно быть, сразу поняла: его робость, его благоговение исчезли. Думаю, он сопротивлялся искушению на Бермудах и в Англии – вплоть до гибели Эдди и Перси и своего ранения. А потом вцепился в жизнь и хватал все, до чего мог дотянуться. Учитывая обстоятельства, как могла она не понять?

И она поняла или, по крайней мере, поняла, что должна понять. Поняла и никогда об этом не заговаривала, только молилась о силе, чтобы простить, – и простила. Но отцу нелегко жилось с этим прощением. Завтрак в ореоле прощения: кофе с прощением, овсянка с прощением, прощение поверх тоста с маслом. Он оказался беспомощен: как отвергать то, что вслух не произносится? Мать ревновала к медсестре, точнее, к медсестрам, что ухаживали за отцом в разных госпиталях. Ей хотелось, чтобы своим излечением он был обязан только ей – ее заботе, ее безграничной преданности. Вот она, обратная сторона самоотверженности, – тирания.

Однако мой отец вовсе не был здоров. Вообще-то он был настоящей развалиной, о чем говорили ночные крики, кошмары, внезапные приступы ярости, бокал или ваза, брошенные в стену (в жену – никогда). Он сломался, ему требовалась починка, и тут мать могла быть полезна. Могла дать ему покой, ухаживать за ним, баловать, ставить перед ним цветы за завтраком и готовить его любимые блюда. Он хотя бы не подхватил дурной болезни.

Случилось нечто похуже: отец стал атеистом. Бог воздушным шаром лопнул над окопами, остались только неопрятные клочья лицемерия. Религия обернулась просто палкой, чтобы погонять солдат, а думать иначе – пускать ханжеские слюни. Кому нужна отвага Эдди и Перси, их мужество, их ужасная смерть? Что изменилось? Они погибли из-за ошибок бездарных преступных стариков, которые с тем же успехом могли перерезать всем глотки и выбросить за борт «Каледонии». От разговоров о битве за Бога и Цивилизацию отца тошнило.

Мать была в ужасе. Неужели он думает, что Эдди и Перси погибли без всякой высшей цели? И все эти несчастные люди тоже умерли ни за что? Что касается Бога, то кто еще подерживал их в страдании и горе? Мать умоляла отца хотя бы держать свой атеизм при себе. Потом ей было очень стыдно – будто мнение соседей значило для нее больше, чем отношения живой отцовской души и Бога.

Но отец ее просьбу учел. Понимал, что это необходимо. Во всяком случае, говорил подобные вещи, только напившись. До войны он спиртным не увлекался – не имел такой привычки. А теперь пил и мерил шагами комнату, привлекая больную ногу. Вскоре его начинала бить дрожь. Мать пыталась его утешить, но он не хотел утешения. Он поднимался в башню Авалона – якобы покурить. На самом деле искал повода побыть одному. Там, наверху, он говорил сам с собой, кидался на стены и в итоге напивался до бесчувствия. Он избавлял мать от подобного зрелища, поскольку считал себя джентльменом – или цеплялся за обрывки этой маски. Он не хотел, чтобы мать пугалась. И, думаю, сам страдал оттого, что ее забота так его раздражает.

Легкий шаг, тяжелый шаг, легкий шаг, тяжелый шаг – точно зверь с капканом на лапе. Стоны, сдавленные крики. Бьется стекло. Эти звуки будили меня среди ночи: моя комната была прямо под башней.

Затем шаги спускались; тишина, затем черный контур, что маячил сквозь закрытую дверь. Я не видела отца, но чувствовала – неуклюжее одноглазое чудовище, такое печальное. Я привыкла к этим звукам: от отца я не ждала ничего дурного, но все равно держалась с ним робко.

Я не хочу сказать, что такое происходило каждый вечер. Кроме того, эти попойки – или, скорее, припадки – становились все короче, а промежутки между ними все длиннее. Их приближение предсказывали плотно сжатые губы матери. Она, словно радар, улавливала волны нарастающей отцовской ярости.

Значит ли это, что он не любил мать? Вовсе нет. Он любил ее и был по-своему к ней привязан. Но она была для него недостижима – как и он для нее. Будто они выпили роковое зелье, навеки их разлучившее, хотя жили в одном доме, ели за одним столом и спали в одной постели.

Каково это – изо дня в день желать того, тосковать о том, кто находится рядом? Я никогда не узнаю.

Через несколько месяцев у отца начались позорные загулы. Правда, не у нас в городе – поначалу то есть. Он уезжал на поезде в Торонто – якобы по делам, – а там беспорочно пьянствовал и, как говорили в то время, «котовал». Слухи дошли до нас на удивление быстро – как всегда, когда дело пахнет скандалом. Как ни странно, отца и мать после этого зауважали еще больше. Кто посмел бы осуждать отца – после всего? А у матери, несмотря ни на что, с губ не сорвалось ни слова жалобы. Как и следовало ожидать.

(Откуда я знаю? Я и не знаю – то есть в обычном смысле слова. Но в домах вроде нашего молчание разговорчивее слов – плотно сжатые губы, поворот головы, быстрый взгляд искоса. Словно под тяжким грузом согбенные плечи. Неудивительно, что мы с Лорой подслушивали под дверями.)

У отца было множество тростей с разными набалдашниками – слоновая кость, серебро, черное дерево. Он взял за правило изящно одеваться. Он никогда не планировал увязнуть в семейном бизнесе, но теперь, приняв дела, вознамерился работать усердно. Фабрики можно было продать, но тогда, как назло, не нашлось покупателей или же отец слишком много запросил. Кроме того, он чувствовал себя в долгу – если не перед покойным отцом, то перед братьями. Он изменил название фирмы на «Чейз и сыновья», хотя в живых остался только один сын. Ему хотелось иметь собственных сыновей – желательно двух, чтобы возместить утрату. Он хотел продолжаться.

Мужчины на фабриках поначалу перед ним преклонялись. И не только в медалях дело. Едва закончилась война, женщины отошли – точнее, их потеснили – на второй план, а их места заняли вернувшиеся с фронта мужчины – кто еще мог работать. Но рабочих мест стало меньше: военные заказы кончились. Предприятия по всей стране закрывались, а рабочих увольняли. Только не на фабриках отца. Он все нанимал и нанимал. Он брал на работу ветеранов. Говорил, что неблагодарность государства постыдна и что пришла пора власти имущим вернуть долги. Но на это мало кто из них шел. Закрывали глаза, а отец, чей глаз был по-настоящему закрыт, не отворачивался, что снискало ему в кругах промышленников репутацию предателя и чуть ли не дурака.

На вид я была папина дочка. Я больше походила на него; я унаследовала его хмурый вид, его непробиваемый скептицизм. (Как и медали. Он их мне завещал.) Когда я бунтовала, Рини говорила, что у меня скверный характер и она знает в кого. Лора, напротив, была маминой дочкой. Она была по-своему набожна, у нее был высокий чистый лоб.

Но внешность обманчива. Я никогда не смогла бы направить автомобиль в пропасть. Отец мог бы. Мать – нет.

Осень 1919 года. Мы втроем – отец, мать и я – делаем над собой усилие. Ноябрь, время позднее. Мы сидим в маленькой столовой Авалона. В камине пылает огонь – похолодало. Мама поправляется от недавней таинственной болезни – говорят, что-то с нервами. Она чинит одежду. Это необязательно: она может кого-нибудь нанять, но ей хочется – мама любит, чтобы руки были заняты. Она пришивает на мое платье оторванную пуговицу. Про меня говорят, что одежда на мне горит. На круглом столе перед мамой стоит индейская корзинка с рукоделием; внутри ножницы, нитки, деревянное яйцо для штопки; еще перед мамой лежат и смотрят новые очки с круглыми стеклами. Для такой работы они маме не нужны.

На маме небесно-голубое платье с широким белым воротником и белыми манжетами с каймой из пике. Мама рано поседела, но ей и в голову не приходит красить волосы – для нее это все равно что, к примеру, отрубить руку; у нее лицо молодой женщины в ореоле седины. Прямой пробор, и волосы текут крупными тугими волнами, мать укладывает их в сложный перекрученный узел. (Перед смертью, через пять лет, она уже коротко стриглась – модно, но не так красиво.) Глаза опущены, щеки округлились, как и животик; нежная полуулыбка. Электрическая лампа под желто-розовым абажуром мягко освещает мамино лицо.

Напротив, на диванчике, сидит отец. Откинулся на подушки, но беспокоен. Рука – на колене дурной ноги, нога подергивается. (*Нормальная нога, дурная нога* – вот интересно. Что плохого сделала дурная нога, почему ее так зовут? Ее тайное увечье – это что, наказание?)

Я сижу возле отца, хотя не слишком близко. Его рука лежит позади меня, на спинке диванчика, но меня не касается. У меня в руках азбука, я декламирую по ней, притворяясь, будто умею читать. Но читать я не умею. Просто помню очертания букв и подписи к картинкам. На столике стоит граммофон, из него огромным металлическим цветком растет труба. Мой голос похож на тот, что иногда звучит оттуда: тих, тонок и далек; выключается одним пальцем:

А – Арбуз,
Хорош на вкус.
Открывай рот
И беги в огород.

Я поднимаю глаза на отца: слушает ли? Порой с ним говоришь, а он не слышит. Он ловит мой взгляд и слабо улыбается.

Б – Баран,
Рогат и упрям.
Ходит по рву,
Щиплет траву.

Отец снова отворачивается и смотрит на улицу. (Может, воображает, что сам стоит за окном и смотрит на нас? Сирота, изгой – ночной скиталец? Ведь он вроде за эту идиллию у камина и сражался, за уютную сценку с рекламы «Пшеничной соломки»: округлившаяся, розовощекая жена, такая нежная и добрая; послушное, любящее дитя. За эту серость, за эту скуку. Может, теперь он тосковал по войне, несмотря на весь ее смрад и бессмысленную бойню? По инстинктивной жизни без вопросов?)

О – Огонь,
Его не тронь!

Горит вольно,
Кусает больно.

На рисунке в книге изображен объятый огнем скачущий человек – огонь лижет ему ноги и плечи, на голове выросли маленькие огненные рожки. Он смотрит через плечо, улыбаясь озорно и обольстительно; он без одежды. Огонь ему не страшен. Ему вообще ничего не страшно. За это я его люблю. Я пририсовала карандашами еще несколько огненных языков.

Мама проталкивает иголку сквозь пуговицу, отрезает нитку. С нарастающим волнением я читаю об изысканных «М» и «Н», ехидной «Щ», твердой «Р» и полной угрожающего свиста «С». Отец смотрит в огонь; в пламени ему мерещатся поля, леса, дома и города, люди, его братья, что растворяются в дыму; нога дергается сама по себе, как у бегущей во сне собаки. Это его дом, его осажденный замок, а он – оборотень. За окном понемногу сереет холодный лимонный закат. Вот-вот родится Лора, но я этого пока не знаю.

Хлебный день

Дождей маловато, говорят фермеры. Цикады обжигающим звоном прошивают воздух; по улицам вихрится пыль; кузнечики стрекочут в траве у обочины. Листья клена повисли мятыми перчатками; моя тень на тротуаре треснула.

Я выхожу рано, пока не печет. Врач меня подбадривает: говорит, я продвигаюсь. Куда, спрашивается? Мое сердце – товарищ в бесконечном форсированном марше, мы в одной связке – невольные заговорщики в интриге или маневре, над которой не имеем власти. Куда мы идем? К следующему дню. Я способна уразуметь: тот орган, что поддерживает во мне жизнь, со временем меня и убьет. В этом он схож с любовью – по крайней мере, с определенной любовью.

Сегодня опять ходила на кладбище. Кто-то оставил на Лориной могиле букет оранжевых и алых цинний – эти пылающие краски совсем не успокаивают. К моему приходу цветы уже подвяли, хотя по-прежнему остро пахли. Подозреваю, их украл с клумбы перед пуговичной фабрикой какой-нибудь скряга или малость психованный. Впрочем, и Лора бы так поступила. У нее было крайне смутное представление о собственности.

По пути домой я зашла в кондитерскую: на улице становилось жарко, и мне захотелось в тень. Заведение далеко не новое и вообще-то весьма убогое, несмотря на щегольскую современность – светло-желтый кафель, привинченные к полу пластиковые столы со стульями. Интерьер напоминает какое-то учреждение: детский сад для бедняков или центр для умственно отсталых. Кидаться или пырять особо нечем – даже приборы пластмассовые. Пахнет фритюром, сосновым моющим средством и остывшим кофе.

Я купила чай со льдом и старомодное глазированное пирожное, пенопластом заскрипевшее на зубах. Я съела половину – больше в себя протолкнуть не удалось – и зашаркала по скользкому полу в женский туалет. Пока я шла, в голове сложилась карта самых удобных туалетов Порт-Тикондероги – что крайне важно, если приспичит; сейчас я предпочитаю этот, в кондитерской. Не то чтобы в нем всегда есть туалетная бумага или он чище остальных – в нем есть надписи. Они есть и в других туалетах, но в большинстве их быстро закрашивают, а в кондитерской надписи видны долго. И можно прочитать не только первоначальный текст, но и комментарии к нему.

Самая лучшая переписка на этот раз обнаружилась в средней кабинке. Первое предложение написали карандашом, глубоко расцарапавшим краску, – округлым почерком, как на римских надгробиях: *«Не ешь то, что не готов убить»*.

Ниже – зеленым фломастером: *«Не убивай то, что не готов съесть»*.

Еще ниже – шариковой ручкой: *«Не убивай»*.

И фиолетовым фломастером: *«Не ешь»*.

А подо всем этим – последняя на сегодня фраза размашистыми черными буквами: *«К черту вегетарианцев! Все боги плотоядны» – Лора Чейз*.

Выходит, Лора жива.

Чтобы попасть в этот мир, Лоре потребовалось много времени, рассказывала Рини. Будто она не могла решить, стоит ли игра свеч. Она была очень слабенькой, и мы ее чуть не потеряли – наверное, она тогда еще не надумала. Но в конце концов склонилась к тому, что попробовать стоит, и тогда вцепилась в жизнь и стала поправляться.

Рини верила, что люди сами решают, когда умереть и стоит ли родиться. В том возрасте, когда дети начинают спорить, я стала говорить: *«А вот я не просила, чтобы меня рожали»*, словно то был решающий аргумент, на что Рини возражала: *«Конечно, просила. Как и все»*. Стоит почувствовать дыхание жизни – и ты на крючке, считала она.

После рождения Лоры мама стала больше уставать. Спустилась на землю, утратила выносливость. Воля ее ослабла, и мама с трудом дотягивала до конца дня. Надо больше отдыхать, советовал доктор. Она совсем плоха, сказала Рини миссис Хиллкоут, которая пришла помочь со стиркой. Точно маму похитили эльфы, заменив ее вот этой – чужой, старой, седой и унылой женщиной. Мне тогда было всего четыре года, и перемена в матери меня напугала: хотелось, чтобы она обняла меня и успокоила, но у нее уже не осталось на это сил. (Почему я говорю *уже*? В ее представлении роль матери всегда сводилась к поучениям, а не к нежности. В глубине души она осталась школьной учительницей.)

Я скоро поняла, что, если буду вести себя тихо, не требовать внимания и, главное, приносить пользу – особенно с малышкой Лорой: сидеть с ней, качать колыбельку, баюкать (Лора с трудом засыпала и быстро просыпалась), – мне разрешат находиться в одной комнате с мамой. А иначе тут же выставят. И я на это согласилась: на молчание, на услужливость.

А следовало визжать. Закатывать истерики. Как говорит Рини, смазывают только скрипящее колесо.

(На ночном столике матери – фотография в серебряной рамке: я в темном платье с белым кружевным воротником – неуклюже и свирепо стискиваю вязаное белое одеяльце; осуждающе уставилась в объектив или на того, кто фотографирует. Лоры на снимке почти не видно. Только детская пушистая макушка и крошечная ручка, вцепившаяся в мой большой палец. Сержусь ли я, что меня оставили держать маленькую сестру, или, напротив, ее защищаю? Держу и не хочу отпускать?)

Лора была беспокойным ребенком, хотя скорее встревоженным, чем капризным. И совсем крошкой тоже беспокоилась. Она переживала из-за дверок шкафа, из-за ящиков комода. Словно все время прислушивалась к чему-то далекому или спрятанному этажом ниже – и оно воздушным поездом беззвучно приближалось. У нее случались непостижимые трагедии: она заливалась слезами при виде мертвой вороны, попавшей под машину кошки или набежавшей на небо тучки. С другой стороны, Лора необыкновенно стойчески переносила физическую боль и обычно не плакала, когда обжигала рот или резалась. Враждебность – враждебность Вселенной – вот от чего она страдала.

Особенно остро она реагировала на искалеченных ветеранов – на тех, кто праздно шатался по улице, продавал карандаши или попрошайничал, не в силах заняться чем-то путным. Один свирепый красномордый безногий мужик, что разъезжал на плоской тележке, отталкиваясь от тротуара руками, всегда доводил ее до слез. Наверное, потому, что глаза у него были яростные.

Как большинство маленьких детей, Лора верила, что слова значат то, что значат, но у нее это доходило до абсурда. Ей нельзя было сказать: *да провались ты* или *пойди утопись*, потому что последствия могли быть очень серьезными. *Ну что ты еще Лоре сказала? Совсем ничему не учишься*, – бранилась Рини. Но даже она порой попадалась. Как-то она велела Лоре прикусить язычок, и после та несколько дней не могла жевать.

Сейчас я перейду к маминой смерти. Если скажу, что это событие перевернуло нашу жизнь, получится банально, но так и было, и потому я напишу здесь:

Это событие перевернуло нашу жизнь.

Случилось это во вторник. В день, когда пекли хлеб. Весь наш хлеб, которого хватало на целую неделю, выпекался на кухне в Авалоне. В Порт-Тикондероге уже завелась небольшая булочная, но Рини говорила, что готовый хлеб – для лентяев, а булочник добавляет в него мел, чтобы сберечь муку, и больше дрожжей: хлеб становится рыхлее, и кажется, что его больше, чем на самом деле. В общем, Рини пекла хлеб сама.

Кухня Авалона не была темной – не закопченная викторианская нора тридцатилетней давности. Напротив, она сияла белизной – белые стены, белый эмалированный стол, белая плита, черно-белая плитка на полу; на новых больших окнах бледно-желтые шторы. (Кухню перестроили после войны – один из робких искупительных отцовских подарков маме.) Рини считала кухню последним пискom моды и, наслушавшись от мамы о зловещих микробах и их убежищах, содержала кухню в безукоризненной чистоте.

В хлебные дни Рини давала нам с Лорой кусочки теста для хлебных человечков – мы им вставляли изюмины вместо глаз и пуговиц. Потом она пекла их с остальным хлебом. Я своего съедала, а Лора – нет. Как-то Рини обнаружила целую шеренгу у Лоры в ящике: твердые как камень и завернутые в носовые платки, похожие на крошечных мумий с хлебными личиками. Рини сказала, что они приманка для мышей и надо их немедленно выбросить, но Лора настояла на массовом захоронении в огороде, под кустом ревения. Потребовала, чтобы прочитали молитвы. А иначе она никогда больше не станет есть ужин. Торговаться она умела – если до этого снисходила.

Рини выкопала яму. У садовника был выходной, и Рини взяла его лопату; к ней никто не имел права прикасаться, но то был особый случай.

– Господи, помоги ее мужу, – сказала Рини, когда Лора аккуратно разложила в ямке своих человечков. – Упряма как осел.

– А я не выйду замуж, – возразила Лора. – Буду жить одна в гараже.

– И я тоже не выйду, – поторопилась не отстать я.

– Сомневаюсь, – сказала Рини. – Вам нравятся славенькая, мягонькая постелька. А в гараже придется спать на цементе, и вы перемажетесь смазкой и машинным маслом.

– Тогда я буду жить в оранжерее, – заявила я.

– Там больше не топят, – сказала Рини. – Зимой ты там насмерть замерзнешь.

– Я буду спать в автомобиле, – уточнила Лора.

В тот ужасный вторник мы завтракали на кухне с Рини. Ели овсяную кашу и тосты с джемом. Иногда мы завтракали с мамой, но в тот день она слишком устала. Мама всегда была строже, заставляла сидеть прямо и съедать корки. «Не забывайте о голодающих армянах», – говорила она.

Наверное, армяне тогда уже не голодали. Война давно закончилась, наладилась мирная жизнь. Но их беда девизом закрепилась в мамином сознании. Девизом, призывом, молитвой, заклинанием. Корки от тостов съедались в память об этих армянах – кто бы они ни были. Не доедать их – святотатство. Мы с Лорой чувствовали силу заклинания – оно всегда на нас действовало.

В тот день мама не съела корки. Я это точно помню. Лора к ней пристала: «Мама, а как же корки, как же голодающие армяне?» – и в конце концов маме пришлось признаться, что она плохо себя чувствует. От этих слов меня словно током ударило, потому что я поняла. Я с самого начала поняла.

Рини говорила, что Бог делает людей, как она – хлеб, поэтому у матерей, когда они ждут детишек, растут животики: поднимается тесто. По словам Рини, ее ямочки – отпечатки большого пальца Бога. У нее три ямочки, а у других нет совсем. Бог делает всех разными, чтоб не соскучиться. Казалось, что это нечестно, но в конце концов все должно было стать по-честному.

Лоре тогда было шесть, мне девять. Я уже знала, что детей делают не из теста, – это сказочка для таких малышей, как Лора. Однако подробностей никто не объяснял.

Последнее время мама сидела днем в бельведере и вязала. Крошечный свитерок вроде тех, что прежде вязала для «Заморских эмигрантов». А этот тоже для эмигрантов, – спросила

я. Возможно, ответила она с улыбкой. Через некоторое время мама задремывала, веки тяжело опускались, круглые очки соскальзывали. Она говорила, что у нее есть глаза на затылке и она всегда знает, когда мы плохо себя ведем. Мне казалось, они плоские, блестящие и бесцветные, будто очки.

Непохоже на маму так много спать днем. Была и масса других непохожих на нее вещей. Лора не замечала – но замечала я. Я пыталась понять, что происходит, сопоставляя то, что говорили, и то, что удавалось подслушать. Мне говорили: «Маме нужно отдохнуть, позаботься о Лоре, пусть она маму не дергает». А подслушала я вот что (Рини с миссис Хиллкоут): «Доктору это не нравится. Что будет – бабушка надвое сказала. Из нее, конечно, слова не вытянешь, но она плоха. Вот есть же мужики, которые никак обойтись не могут». Так я поняла, что маме грозит опасность; что-то связанное со здоровьем и с отцом, хотя я не могла понять, в чем именно эта опасность заключалась.

Да, Лора ничего не замечала, но тянулась к матери больше обычного. Когда мама отдыхала, Лора сидела по-турецки в тени под бельведером, а когда мама писала письма – позади стула. Если мама была на кухне, Лора залезала под стол. Затаскивала туда диванную подушку и бывшую мою азбуку. У Лоры было много бывших моих вещей.

Лора тогда умела читать – по крайней мере, азбуку. Ее любимой буквой была «Л», потому что с нее начиналось Лорино имя. *Л – это Лора*. А у меня никогда не было любимой буквы, *А – это Айрис*, – потому что с «А» начинается весь алфавит.

Л – это Лилия,
Белая красавица.
Вечером прячется,
Утром раскрывается.

На картинке – два ребенка в старомодных соломенных шляпках, рядом лилия, а на ней сидит фея – нагая, с прозрачными блестящими крылышками. Встреть я такое существо, говорила Рини, обязательно погналась бы с мухобойкой. Она говорила это мне в шутку, а Лоре не говорила: та могла поверить и расстроиться.

Лора была *другая*. *Другая* означает *странный*, это я понимала, но все равно изводила Рини:

– Что такое *другая*?

– Не такая, как все, – отвечала Рини.

Но, быть может, Лора не так уж отличалась от всех прочих. Может, она была как все – лишь выставляла напоказ то странное и перекошенное, что большинство людей скрывает, и потому их пугала. А она и впрямь пугала или если не пугала, то как-то настораживала; и с годами, разумеется, все больше.

Тогда, во вторник утром, Рини и мама делали хлеб. Нет, не так: хлебом занималась Рини, а мама пила чай. Рини сказала матери, что не удивится, если к вечеру начнется гроза, очень уж тяжело дышать – может, маме стоит выйти наружу и посидеть в тени или прилечь. Но мама ответила, что терпеть не может бездельничать. Она тогда чувствует себя бесполезной; ей хочется остаться с Рини.

Рини-то что: мать могла хоть по воде разгуливать, да и все равно не Рини указывать хозяйке. И вот мама сидела и пила чай, а Рини стояла у стола и месила тесто – мяла его, сворачивала, вертела и снова мяла. Руки в муке, точно в белых перчатках. На груди тоже мука. Домашнее платье вспотело под мышками, и желтые маргаритки на ткани потемнели. Рини уже вылепила несколько караваев, поставила их в сковородки и накрыла чистыми влажными полотенцами. Пахло сырыми грибами.

В кухне было жарко – плите требовалось много угля, и на улице тоже было жарко. В открытое окно в комнату волнами катился зной. Муку для теста брали из бочонка в кладовой. Нам нельзя залезать в бочонок: мука попадет в рот и нос и задушит. Рини знала одного малыша, его братья и сестры вверх ногами затолкали в бочку с мукой, и он чуть не задохнулся.

Мы с Лорой сидели под кухонным столом. Я читала детскую книжку с картинками «Великие люди в истории». Наполеон изгнан на остров Святой Елены; он стоит на краю утеса, заложив руку за отворот кителя. Мне казалось, у него болит живот. Лора ерзала. Она выползла из-под стола попить.

– Хочешь теста, слепишь человечка? – спросила Рини.

– Нет, – отказалась Лора.

– *Спасибо*, нет, – поправила мама.

Лора вновь забралась под стол. Мы видели две пары ног: мамины тонкие ступни и широкие, в прочных туфлях ступни Рини; мамины худые икры и пухлые, в розово-коричневых чулках икры Рини. Мы слышали, как перекачивается по столу тесто. И вдруг чашка вдребезги, мама лежит на полу, а Рини подле нее на коленях.

– Батюшки святы, – говорит она. – Айрис, беги за папой.

Я помчалась в библиотеку. Телефон звонил, но отца не было. Я стала взбираться по лестнице на башню – вообще-то запретное место. Дверь была не заперта, в комнате пусто, только стул и пепельницы. В гостиной отца тоже не было, и в маленькой столовой, и в гараже. Он, наверное, на фабрике, подумала я, но не знала туда дороги, и кроме того, это далеко. Я не знала, где еще его искать.

Я вернулась на кухню и заползла под стол, где, обняв колени, сидела Лора. Она не плакала. На полу было что-то похожее на кровь, на следы крови – темно-красные пятна на белой плитке. Я тронула, лизнула палец – точно кровь. Я вытерла ее тряпкой.

– Не смотри, – сказала я Лоре.

Вскоре по черной лестнице спустилась Рини; стала крутить телефонный диск и звонить доктору, но того не было, где-то шлялся, как обычно. Потом она позвонила на фабрику и позвала отца. Его не могли найти.

– Отыщите его, – потребовала она. – Скажите, что дело серьезное, – и снова заторопилась наверх.

Она совсем позабыла про тесто; оно слишком поднялось, затем осело и уже никуда не годилось.

– Нельзя ей было сидеть в душной кухне, – сказала Рини миссис Хиллкоут, – да еще в такую погоду, когда вокруг ходит гроза, но она никогда о себе не думает и никого не слушает.

– Она очень мучилась? – спросила миссис Хиллкоут с жалостью и любопытством.

– Бывает и похуже, – ответила Рини. – И на том спасибо. Он выскользнул, как котенок, но крови было, надо сказать, просто море. Придется сжечь матрас – его уже не спасти.

– О господи. Ну, она еще сможет завести другого, – сказала миссис Хиллкоут. – Наверное, так уж суждено. С этим что-то было не в порядке.

– Она не сможет, судя по тому, что я слышала, – возразила Рини. – Доктор говорит, лучше остановиться: еще один ее убьет. Ее и этот чуть не убил.

– Некоторым женщинам лучше не выходить замуж, – сказала миссис Хиллкоут. – Они для этого не годятся. Нужно быть сильной. Моя мать родила десятерых и глазом не моргнула. Правда, не все выжили.

– А у моей было одиннадцать, – похвасталась Рини. – И это свело ее в могилу.

Я подобное уже слышала и понимала, что это вступление к спору о том, у чьей матери жизнь была труднее; потом они переключались на стирку. Я взяла Лору за руку, и мы на цыпочках поднялись по черной лестнице. Нам было тревожно и в то же время любопытно: мы хотели

знать, что случилось с мамой, и еще увидеть котенка. Он лежал в коридоре у дверей маминой комнаты в эмалированном тазике, рядом с кипой окровавленных простыней. Но это был не котенок. Серый, вроде старой вареной картошки, с непомерно большой головой и весь скрюченный. Глазки зажмурены, будто ему мешал свет.

– Это что? – прошептала Лора. – Это не котенок. – Она села рядом на корточки, глядя в него.

– Пойдем вниз, – сказала я.

Доктор еще был у матери, мы слышали его шаги. Я не хотела, чтобы нас застукали, потому что понимала: на это существо нам смотреть нельзя. Особенно Лоре: зрелище ничем не лучше раздавленных животных. Значит, как всегда, будет визг, и мне влетит.

– Это ребенок, – сказала Лора. – Просто недоделанный. – Она была на удивление спокойна. – Бедняжка. Не захотел родиться.

Ближе к вечеру Рини повела нас к маме. Та лежала в постели, головой на двух подушках, тонкие руки поверх одеяла, седеющие волосы казались прозрачными. На левой руке поблескивало обручальное кольцо, пальцы вцепились в простыню. Губы плотно сжаты, будто она о чем-то размышляет; с таким выражением лица мама составляла список покупок. Глаза закрыты. Сейчас, с опущенными веками, они казались больше, чем когда открыты. Очки лежали на ночном столике рядом с кувшином воды, два круглых глаза сверкали пустотой.

– Она уснула, – шепнула Рини. – Не трогайте ее.

Мама приоткрыла глаза. Губы ее дрогнули, пальцы ближней к нам руки разжались.

– Можете ее обнять, – сказала Рини. – Только осторожно.

Я сделала, как мне сказали. А Лора горячо прильнула к матери всем телом, сунув голову ей под руку. В комнате стоял крахмальный голубой запах лаванды от простыней, мыльный мамин аромат, горячий запах ржавчины и кисло-сладкий дух мокрых, но тлеющих листьев.

Мама умерла через пять дней. От лихорадки и еще от слабости; силы к ней не вернулись, сказала Рини. Все это время доктор приходил и уходил, а в спальне сменяли друг друга накрахмаленные хрупкие сиделки. Рини бегала вверх-вниз по лестнице с тазиками, полотенцами, чашками с бульоном. Отец беспокойно сновал между фабрикой и домом, появляясь за обеденным столом вконец измученным попрошайкой. Где он был в тот день, когда его не могли найти? Никто не говорил.

Лора, сжавшись в комочек, сидела в коридоре наверху. Меня просили поиграть с ней, чтобы она чего не натворила, но она не хотела играть. Сидела, обхватив коленки руками и уткнувшись в них подбородком, а лицо задумчивое и таинственное, будто она сосет леденец. Леденцы нам запрещались. Но когда я заставила показать, что у нее во рту, там оказался лишь круглый белый камешек.

Последнюю неделю мне разрешали видеть маму каждое утро, но только несколько минут. Говорить с ней было нельзя, потому что (сказала Рини) мама была не в себе. То есть маме казалось, что она где-то в другом месте. С каждым днем она все больше худела. Скулы заметно выступали, от нее пахло молоком и еще чем-то сырым и тухлым – похоже на бумагу, в которую заворачивают мясо.

Во время этих визитов я все время дулась. Я видела, как она больна, и за это обижалась. Мне казалось, мама меня как-то предает – уклоняется от своего долга, отрекается от нас. Мне не приходило в голову, что она может умереть. Раньше я этого боялась, но сейчас была в таком ужасе, что просто выбросила это из головы.

В то последнее утро – я еще не знала, что оно последнее, – мама была почти как раньше. Слабее обычного, но более собранна, сосредоточенна. Взглянула на меня так, будто видит.

– Как здесь светло, – прошептала она. – Задерни, пожалуйста, шторы.

Я сделала, как она просила, а потом вернулась к постели и стояла, комкая платок – Рини дала мне его на случай, если я разревусь. Мама взяла меня за руку; ее ладонь была сухой и горячей, а пальцы – как мягкая проволока.

– Будь умницей, – проговорила она. – Надеюсь, ты будешь Лоре хорошей сестрой. Ты стараешься, я знаю.

Я кивнула. Я не знала, что сказать. Мне казалось, это несправедливо: почему всегда именно я должна быть хорошей сестрой Лоре, а не наоборот? Ну конечно, мама любит Лору больше, чем меня.

Может, и нет; может, она любила нас одинаково. А может, у нее не осталось больше сил любить кого бы то ни было, и она поднялась выше, в ледяные слои стратосферы, за пределы теплого магнитного поля любви. Но такого я вообразить не могла. Ее любовь казалась безусловной – прочной и осязаемой, как пирог. Неясно только, кому достанется кусок побольше.

(Что они за конструкции, наши матери? Пугала, восковые куколки, в которых мы втыкаем булавки, наброски чертежей. Мы им отказываем в праве на собственную жизнь, подгоняем их под себя – под свои потребности, свои желания, свои недостатки. Я была матерью – я теперь знаю.)

Мамин небесный взор замер на моем лице. Какого усилия, должно быть, ей стоило не закрывать глаза! Наверное, я виделась ей словно издали – дрожащим розовым пятнышком. Как, вероятно, трудно было ей сосредоточиться! Но я не оценила ее стоицизма – если то был стоицизм.

Я хотела сказать, что она ошибается насчет меня, насчет моих намерений. Я не всегда бываю хорошей сестрой – совсем наоборот. Иногда я называю Лору надоедой и прошу не мешать; только на прошлой неделе, увидев, что она лижет конверт – мой специальный конверт для открыток, – я сказала, что клей делается из вареных лошадей, отчего Лора захлюпала носом и ее вырвало. А иногда я прячусь от нее в кустах сирени за оранжереей и там, заткнув уши, читаю, а она бродит вокруг и тщетно меня зовет. Так что мне ее часто удается надуть.

Но мне не хватило слов все это выразить, не согласиться с тем, как мама все видит. Я еще не знала, что так все и останется, и она уйдет, считая меня хорошей девочкой, и ее мнение ярлыком пристанет ко мне, и у меня не будет шанса швырнуть этот ярлык ей в лицо (как обычно бывает между матерью и дочкой, как случилось бы, если б она жила, а я выросла).

Черные ленты

Сегодня закат пылает долго и медленно гаснет. На востоке нависшее небо прорезала молния, потом внезапный удар грома – будто оглушительно хлопнула дверь. В доме жара, как в печке, несмотря на новый вентилятор. Я вынесла наружу лампу; иногда в сумерках я вижу лучше.

Я не писала всю неделю. Душа не лежала. Зачем писать о грустном? Но вот, оказывается, опять начала. Возобновила свои каракули, они длинной черной нитью выются по странице – путанные, но разборчивые. Может, все же хочу оставить подпись? А ведь так старалась этого избегать – *следа Айрис*, даже усеченного: инициалов мелом на тротуаре, пиратского «Х» на карте берега, где зарыты сокровища.

Почему нам так хочется себя увековечить? Даже при жизни. Подтвердить свое существование – точно собаки, что метят пожарный кран. Мы выставляем напоказ фотографии в рамках, дипломы, столовое серебро; вышиваем монограммы на белье, вырезаем на деревьях имена, выцарапываем их в туалетах на стене. И все по одной причине. На что мы надеемся? На аплодисменты, зависть, уважение? Или просто на внимание – хоть какое-нибудь?

Мы хотим, по крайней мере, свидетеля. Мысль о том, что когда-нибудь наш голос перегоревшим радиоприемником замолкнет навсегда, невыносима.

Назавтра после маминых похорон нас с Лорой отослали в сад. Так распорядилась Рини; она сказала, что ее ногам нужно дать отдых, потому что за день она с них сбилась.

– Я уже на пределе, – сказала она.

Веки у нее покраснели, и я догадывалась, что она плачет потихоньку, чтобы не расстраивать других, и, отослав нас, заплачет снова.

– Мы будем тихо, – пообещала я.

Мне не хотелось выходить из дома: слишком яркий свет, он слепил, а у меня опухли и покраснели глаза, но Рини сказала, что надо погулять – свежий воздух пойдет на пользу. Нам не сказали, чтобы мы пошли на улицу поиграть: это неуважение к маминой смерти. Просто велели пойти на улицу.

В Авалоне по случаю похорон состоялся прием. Он не назывался поминками – поминки справляют на том берегу Жога, шумные, вульгарные, со спиртным. Нет, у нас был прием. На похоронах было битком – пришли фабричные, их жены, дети и, конечно, городские шишки – банкиры, священники, адвокаты, врачи, но на прием позвали не всех, хотя пришло все равно больше, чем ожидалось. Рини сказала миссис Хиллкоут, которую наняли помочь, что Иисус, может, и накормил тысячи несколькими хлебами и рыбой, но капитан Чейз не Иисус и толпу накормить не в состоянии, хотя, по своему обыкновению, не знает, когда остановиться, и она лишь надеется, что никого не задавят до смерти.

Приглашенные набились в дом, почтительно-скорбные, но сгорали от любопытства. Рини пересчитала ложки до и после приема и сказала, что хватило бы и второсортных приборов: некоторые люди уносят на память все, что не прибито; знай она, как они едят, положила бы вместо ложек лопаты.

И все же кое-что из еды осталось – ветчина, немного печенья, остатки разных пирогов, и мы с Лорой украдкой пробирались в кладовую. Рини об этом знала, но у нее не хватало сил нас остановить – сказать: «Аппетит пропадет», или «Хватит грызть в моей кладовой, а то в мышек превратитесь», или «Еще немного – и вы лопнете», или еще какое предостережение, или наставление, которые я про себя находила утешительными.

На этот раз нам позволили набить животы до отказа. Я объелась печеньем и ветчиной и проглотила целый кусок кекса. В черных платьях было ужасно жарко. Рини заплела нам волосы

в тугие косички, каждую затянув двумя бантами, так что мы обе носили на головах четверку строгих черных бабочек.

На улице я зажмурилась от солнца. Меня раздражали яркая зелень, желтые и красные цветы, их самоуверенность, их мерцание, будто они имели право. Хотелось оборвать их и выкинуть. Я была одинока, ворчлива и раздута. Сахар ударил мне в голову.

Лора хотела залезть на сфинксов у оранжереи, но я не разрешила. Тогда она предложила пойти к каменной нимфе и посмотреть на золотую рыбку. В этом я не видела ничего плохого. Лора вприпрыжку выбежала на лужайку впереди меня. Эта беспечность возмущала – словно Лору ничто в мире не заботило; она и на похоронах была такая. Будто горе остальных ее удивляло. И еще больше меня злило, что люди из-за этого жалели ее больше, чем меня.

– Бедняжка, – говорили они. – Она еще слишком мала, она не понимает.

– Мама у Бога, – говорила Лора.

Да, это официальная версия, смысл всех возносимых молитв, но Лора искренне в это верила, не сомневаясь, как остальные, а безмятежно и прямодушно, отчего мне хотелось ее встряхнуть.

Мы сидели на парапете пруда; зеленые листья лилий на солнце казались резиновыми. Лору пришлось подсаживать. Прислонясь к каменной нимфе, она болтала ногами, брызгала руками по воде и напевала.

– Не пой, – сказала я. – Мама умерла.

– Не умерла, – самодовольно ответила Лора. – Не совсем умерла. Она на небе с маленьким ребеночком.

Я столкнула ее с парапета. Не в пруд – мне хватило ума. На траву. Парапет был невысокий, земля мягкая – Лора вряд ли сильно ушиблась. Она упала навзничь, перекатилась и посмотрела на меня широко раскрытыми глазами, словно не веря, что я могла такое сделать. Рот раскрылся в совершенно круглый розовый бутон, точно у ребенка из книжки с картинками, задувающего свечи в день рождения. А потом она заплакала.

(Должна признаться, я обрадовалась. Мне хотелось, чтобы она тоже страдала – как я. Надоело, что ей все сходит с рук, потому что она маленькая.)

Лора поднялась и побежала по аллее к кухне, вопя, будто ее режут. Я помчалась за ней: лучше быть рядом, когда она прибежит ко взрослым и будет на меня жаловаться. Лора бежала неуклюже: нелепо расставив руки, ноги разъезжались, бантики бились о спину, черная юбка тряслась. Один раз Лора упала, теперь уже по-настоящему – разодрала руку. Мне полегчало: эта кровь смывает мой проступок.

Газировка

Примерно через месяц после маминой смерти – не помню точно – отец сказал, что возьмет меня в город. Он никогда раньше не обращал на меня особого внимания – на Лору, впрочем, тоже; предоставлял нас матери, а потом – Рини, и меня его предложение поразило.

Лору он не взял. Даже не предложил.

О предстоящей экскурсии отец объявил за завтраком. Он теперь настаивал, чтобы мы с Лорой завтракали с ним, а не на кухне с Рини, как раньше. Мы сидели на одном конце длинного стола, он – на другом. Он редко с нами говорил – обычно утыкался в газету, а мы слишком трепетали, чтобы заговаривать первыми. (Конечно, мы его боготворили. Его либо боготворишь, либо ненавидишь. Умеренных эмоций он не вызывал.)

Расцветенные витражами солнечные лучи окрашивали отца, словно тушью. Как сейчас вижу кобальтовую синь его щеки, клюквенные пальцы. Мы с Лорой распоряжались этими красками по-своему. Передвигали тарелки с овсянкой – чуть влево, чуть вправо, и тусклая серая каша становилась зеленой, синей, красной или фиолетовой: волшебная еда, то заколдованная, то отравленная, смотря какие причуды у меня или настроение у Лоры. И еще мы за едой корчили рожи – но тихо, тихо. Так, чтобы не заметил отец – в этом была задача. Надо же нам было как-то развлекаться.

В тот необычный день отец рано пришел с работы, и мы пешком отправились в город. Не очень далеко; тогда еще не бывало больших расстояний. Отец предпочитал ходить, а не ездить. Думаю, из-за больной ноги: хотел показать, что ему все нипочем. Ему нравилось шагать по городу, и он шагал, несмотря на хромоту. А я трусила рядом, стараясь приспособиться к его неровной походке.

– Пойдем к Бетти, – сказал отец. – Куплю тебе газировки.

Ничего подобного прежде не случилось. Кафе «У Бетти» – для горожан, а не для нас с Лорой, говорила Рини. Не годится опускаться ниже своего уровня. А газировка – губительная роскошь, и от нее гниют зубы. Мне предложили одним махом нарушить два запрета, и я чуть не запаниковала.

На главной улице Порт-Тикондероги располагались пять церквей и четыре банка – все каменные и приземистые. Чтобы разобраться, что есть что, иногда приходилось читать вывески; впрочем, у банков не было шпильей. Кафе располагалось рядом с одним из банков. В витрине, под бело-зеленым полосатым навесом, висело изображение пирога с курятиной, напоминавшего детский чепчик из сдобного теста с оборками. В закуской горел тусклый желтоватый свет, пахло ванилью, кофе и плавленым сыром. Жестяной потолок, свисают вентиляторы: лопасти – как пропеллеры самолетов. За нарядными белыми столиками сидели женщины в шляпках; отец кивнул, они ответили.

Вдоль стены располагались кабинки из темного дерева. Отец сел в кабинку, я – напротив него. Он спросил, какую воду я буду пить, но я не привыкла находиться с ним вдвоем на людях и робела. Кроме того, я не знала, какая бывает газировка. Отец заказал мне клубничной, а себе кофе.

На официантке было черное платье и белый чепчик, брови выщипаны в тонкие дуги, а красные губы сияли, точно джем. Моего отца она звала капитан Чейз, а он ее – Агнес. Поэтому, а еще увидев, как отец положил локти на стол, я поняла, что он, наверное, бывал здесь не раз.

Агнес спросила, не его ли эта маленькая девочка, да какая миленькая; на меня взглянула неодобрительно. Кофе отцу принесла почти тут же, чуть покачиваясь на высоких каблуках, и, поставив чашку, быстро коснулась его руки. (Я заметила этот жест, хотя смысла его не пони-

мала.) Затем она принесла мне газировку в стакане, похожем на перевернутый колпак, с двумя соломинками. Вода ударила в нос, из глаз потекли слезы.

Отец кинул в кофе кусок сахара, помешал и положил ложечку на блюдце. Я следила за ним поверх стакана. Он вдруг показался мне иным – словно я впервые его увидела, – разреженнее, расплывчатее, но подробнее. Я редко видела его так близко. Зачесанные назад и коротко стриженные по бокам волосы на висках редели; здоровый глаз – ровного синего цвета, точно синька. В изуродованном, но еще привлекательном лице – то же отсутствующее выражение, что бывало у отца за завтраком, будто он прислушивается к песне или далекому взрыву. Усы серее, чем я думала, и еще мне тогда впервые показалось странным, что у мужчин на лице есть щетина, а у женщин нет. Даже будничная отцовская одежда в тусклом желтом свете выглядела таинственно, будто она чужая, а он просто взял ее поносить. Она была ему велика – вот в чем дело. Он исхудал. И притом стал выше.

Отец улыбнулся и спросил, нравится ли мне газировка. А потом замолчал и задумался. Вынул сигарету из серебряного портсигара, который всегда носил с собой, закурил и выдохнул дым.

– Если что-нибудь случится, – произнес он наконец, – обещаю, что позаботишься о Лоре.

Я торжественно кивнула. Что значит что-нибудь? Что может случиться? Я боялась плохих известий, хотя ничего конкретного не сказала бы. Может, он уедет – уедет за границу? Рассказы о войне не пропали даром. Но отец ничего не прибавил.

– Ну что, по рукам? – спросил он.

Мы через стол обменялись рукопожатием; его ладонь была твердой и сухой, словно ручка кожаного чемодана. Синий глаз оценивающе смотрел на меня; отец как бы прикидывал, насколько мне можно доверять. Я вздернула подбородок, выпрямила плечи. Мне отчаянно хотелось заслужить его доверие.

– Что можно купить на пять центов? – вдруг спросил он.

Вопрос застал меня врасплох, я лишилась дара речи: откуда мне знать? Нам с Лорой не давали карманных денег: Рини говорила, сначала надо узнать им цену.

Отец вытащил из внутреннего кармана темного пиджака блокнот в переплете из свиной кожи и вырвал лист бумаги. А потом заговорил о пуговицах. Никогда не рано, сказал он, разобраться в простых принципах экономики, их нужно знать, чтобы действовать правильно, когда я вырасту.

– Представь, что сначала у тебя две пуговицы, – сказал отец.

Расходы, продолжал он, это стоимость производства пуговиц, доходы зависят от того, за сколько ты их продашь, а чистая прибыль – это разница между этой суммой и расходами за данное время. Часть чистой прибыли ты оставишь на свои нужды, а на остальные деньги изловишь четыре пуговицы, а когда их продашь, сможешь сделать уже восемь. Серебряным карандашиком он начертил схему: две пуговицы, потом четыре, потом восемь. Пуговицы пугающе множились на странице, в соседней колонке так же быстро росли деньги. Как лущить горох: горох – в одну миску, шелуху – в другую. Отец спросил, понятно ли мне.

Я пристально в него вглядывалась. Он что, всерьез? Я не раз слышала, как он называл пуговичную фабрику ловушкой, зыбучим песком, проклятьем, альбатросом – но так бывало, когда он напивался. Сейчас же отец был трезв. Он словно извинялся, а не объяснял. Хотел от меня еще чего-то помимо ответа. Казалось, хотел, чтобы я его простила, признала, что за ним нет вины. Но что он мне сделал? Я понятия не имела.

Я смутилась, я была бессильна – чего бы он ни просил, чего бы ни приказывал, это было выше моего разумения. То был первый, но отнюдь не последний случай, когда мужчина ждал от меня больше, чем я могла дать.

– Да, – сказала я.

За неделю до смерти, в одно ужасное утро – других тогда не было – мама сказала странную вещь, хотя тогда она мне странной не показалась.

– В глубине души папа тебя любит, – сказала она.

Мама не имела привычки говорить с нами о чувствах, особенно о любви – своей или еще чьей, кроме божественной. Но родители должны любить своих детей, и потому я, должно быть, восприняла ее слова как заверение: несмотря на видимость, мой отец такой же, как остальные отцы – или какими они должны быть.

Теперь я думаю, что все не так просто. Быть может, то было предостережение. Или бремя. Пусть *в глубине души* любовь, но сверху навалена груда всего остального, и еще неизвестно, что откроется, если копнуть поглубже. Вряд ли простой дар, чистое сверкающее золото. Скорее, нечто древнее и, возможно, губительное, вроде железного амулета, что ржавеет среди старых костей. Такая любовь – своего рода талисман, только тяжелый; и, если таскать его с собой, он на железной цепи будет оттягивать шею.

IV

Слепой убийца: Кафе

Дождь мелкий, но беспрестанно моросит с полудня. Дымка окутывает деревья, стелется по мостовым. Женщина проходит мимо витрины с намалеванной кофейной чашкой, белой с зеленой каймой и с тремя завитками пара – словно кто-то тремя пальцами цеплялся за мокрое стекло. На двери вывеска, позолоченные буквы облупились: «КАФЕ». Открыв дверь, она ступает внутрь, отряхивая зонтик. Кремовый, как и поплиновый плащ. Она откидывает капюшон.

Он в последней кабинке, возле вращающейся двери на кухню, как и сказал. Стены пожелтели от дыма, массивные кабинки выкрашены в тусклый бурый, в каждой – куриная лапа металлического крюка для одежды. В кабинках сидят мужчины, одни мужчины в мешковатых пиджаках, похожих на потертые одеяла, без галстуков, неопрятно стриженные; сидят, широко расставив ноги в ботинках и прочно упираясь в половицы. Руки – точно обрубки: умеют спасать или забивать до смерти – и выглядят при этом одинаково. Тупые инструменты, и глаза им под стать. В зале вонь, пахнет гнилыми досками, разлитым уксусом, мокрыми шерстяными брюками, старым мясом, душем раз в неделю, а еще скупостью, обманом и обидой. Она понимает: важно притвориться, что запаха не замечаешь.

Он поднимает руку; мужчины недоверчиво и презрительно смотрят, как она торопится к нему, стуча по дереву каблучками. Она садится напротив него и с облегчением улыбается: он здесь. Он все еще здесь.

Черт возьми, говорит он, еще бы норку надела.

Что я сделала? Что не так?

Плащ.

Просто плащ. Обыкновенный дождевик, мямлит она. Что в нем такого?

Боже, говорит он, взгляни на себя. И посмотри по сторонам. Он слишком чистый.

На тебя не угодишь. Никогда у меня не получается.

Получается. Ты знаешь, когда получается. Но ты ничего не продумываешь.

Ты не предупредил. Я никогда раньше здесь не была – вообще в таком месте не была. И вряд ли мне удастся выбежать из дома в наряде уборщицы – об этом ты подумал?

Взяла бы хоть шарф, что ли. Волосы прикрыть.

При чем тут волосы, в отчаянии спрашивает она. А еще что? Что с волосами не так?

Слишком светлые. Бросаются в глаза. Блондинки – как белые мыши, встречаются только в клетках. На воле долго не живут. Слишком заметны.

Ты не слишком добр.

Ненавижу доброту, говорит он. Ненавижу людей, которые гордятся, что добрые. Сопливые грошовой благодетели, цедят доброту по капле. Презираю.

Я добрая, пытается улыбнуться она. Во всяком случае, к тебе я добра.

Если бы я считал, что это все – одна тепленькая жиденькая доброта, меня бы тут давно не было. Полночным экспрессом слинял бы из этого ада. Милостыня мне не подходит, и укромных подачек не надо.

Он какой-то дикий. Почему, недоумевает она. Они не виделись неделю. Или дождь виноват.

Может, это не доброта, говорит она. Может, эгоизм. Может, я черствая эгоистка.

Это уже лучше, отвечает он. Лучше будь жадной. Он гасит сигарету, тянется за другой, но передумывает. Он по-прежнему курит фабричные, для него – большая роскошь. Наверное, ограничивает себя. Есть ли у него деньги, думает она, но спросить не может.

Не сиди напротив – так слишком далеко.
Знаю, отвечает она. Но больше нигде. Всюду мокро.
Я найду для нас место. Укроемся от снега.
Снега нет.
Но он пойдет, говорит он. Скоро подует северный ветер.
И повалит снег. А как же разбойники, бедняжки? Наконец-то он усмехается, хотя больше похоже на гримасу. Где ты спишь, спрашивает она.
Неважно. Лучше не знать. Если к тебе придут и станут задавать вопросы, не придется врать.
Не так уж плохо я вру, говорит она, пытаюсь улыбнуться.
Любителя, может, и проведешь. Но профессионалы выведут тебя на чистую воду. Расколют в два счета.
Тебя все ищут? Не бросили?
Пока нет. Так мне сказали.
Ужасно, говорит она. Как ужасно. И все же нам повезло, правда?
Почему повезло? Он снова мрачен.
По крайней мере, мы сидим здесь, у нас есть...
Возле них останавливается официант. Рукава рубашки закатаны, огромный фартук давно не стиран и мят, пряди волос уложены на черепае солевой тесьмой. Пальцы рук – как пальцы ног.
Кофе?
Да, пожалуйста, просит она. Черный. Без сахара.
Она ждет, пока он отойдет. Не опасно?
Кофе? Хочешь знать, нет ли в нем микробов? Вряд ли – его кипятят часами. Он насмехается, но она предпочитает не замечать.
Я имею в виду, не опасно ли здесь находиться.
Он – друг моего друга. Но я поглядываю на дверь: если что, выберусь через черный ход.
В переулок.
Ты ведь этого не делал, правда, спрашивает она.
Я уже говорил. Хотя мог бы: я же там был. Но это неважно, я их вполне устраиваю. Они мечтают пригвоздить меня к стене. Меня и мои вредные идеи.
Тебе нужно уехать, безнадежно говорит она. Ей в голову приходят слова «сжимать в объятиях» – как они устарели. Но именно этого она хочет – сжать его в объятиях.
Не сейчас, говорит он. Пока нельзя. Нельзя ездить на поездах. Пересекать границы. Мне говорили, там следят больше всего.
Я волнуюсь за тебя. Мне это снится. Все время волнуюсь.
Не волнуйся, дорогая, отвечает он. А то похудеешь, и твои прелестные сиськи и задик сойдут на нет. И кому ты будешь нужна?
Она подносит руку к щеке, словно ее ударили. Я не хочу, чтобы ты так говорил.
Я знаю, отвечает он. Девушки в таких плащах обычно этого не хотят.

«Порт-Тикондерога геральд энд бэннер», 16 марта 1933 года
ЧЕЙЗ ВЫСТУПАЕТ ЗА АКЦИЮ ПОДДЕРЖКИ
Элвуд Р. Мюррей, главный редактор

Как и ожидалось, движимый заботой о состоянии общества, капитан Норвал Чейз, президент компании «Чейз индастриз лимитед», объявил вчера, что его компания передает три вагона фабричных товаров «второго сорта» в счет помощи районам, больше других пострадавшим от депрессии. Среди пожертвованных вещей – детские одеяла, детские свитера и удобное мужское и женское нижнее белье.

Капитан Чейз заявил редактору «Геральд энд бэннер», что во время национального кризиса все должны, как во время войны, энергично взяться за дело, особенно в провинции Онтарио, которой повезло больше остальных. Конкуренты, в частности мистер Ричард Гриффен из торонтской компании «Королевский классический трикотаж», обвинили капитана Чейза в наводнении рынка дешевыми товарами для привлечения покупателей и соответственно лишения рабочих жалованья. На это капитан Чейз заявил, что раздает эти вещи бесплатно, поскольку нуждающиеся не могут их купить, и потому дорогу никому не перебегают.

Он прибавил, что все районы страны переживают спад, и «Чейз индастриз» тоже предстоит приспособлять производство к упавшему спросу. По его словам, он сделает все возможное, чтобы фабрики работали по-прежнему, но не исключено, что ему придется увольнять рабочих или сокращать их рабочие часы и жалованье.

Мы можем лишь приветствовать старания капитана Чейза, человека, который держит слово, в отличие от тех, кому милее тактика штрейкбрехерства и локаутов в таких промышленных центрах, как Виннипег и Монреаль. Подобные усилия помогают Порт-Тикондероге оставаться законопослушным городом, где не бывает профсоюзных бунтов, жестокого насилия и спровоцированного коммунистами кровопролития, что затопили другие города, где уничтожается собственность, страдают и гибнут люди.

Слепой убийца: Шинелевое покрывало

И здесь ты живешь? – спрашивает она. И крутит перчатки в руках, будто они промокли и она их выжимает.

Временно обитаю, отвечает он. Это другое.

Дом стоит в ряду других таких же домов из красного кирпича, потемневших от грязи, узких и высоких, с островерхими крышами. Перед домом пыльный газон, жухлый бурьян вдоль дорожки. Валяется рваный бумажный пакет.

Четыре ступеньки на крыльцо. В окне первого этажа колышутся кружевные занавески.

В двери она оборачивается. Не волнуйся, говорит он, никто не смотрит. Все равно здесь живет мой друг. А я сегодня прилетел – завтра улечу.

У тебя много друзей, говорит она.

Отнюдь, возражает он. Если гнили нет, много не нужно.

В вестибюле – латунные крюки для одежды, на полу желто-коричневый клетчатый линолеум, на матовом стекле внутренней двери узор из цапель или журавлей. Длинноногие птицы среди камышей и лилий изгибают грациозные змеевидные шеи – остались со времен газового света. Дверь открыта вторым ключом, они входят в сумрачную прихожую; там он шелкает выключателем. Наверху – конструкция из трех стеклянных розовых бутонов, из трех лампочек двух нет.

Не смотри с таким ужасом, дорогая, говорит он. Ничего к тебе не пристанет. Только ничего не трогай.

Да нет, может пристать, задыхаясь, усмехается она. Тебя-то мне придется трогать. Ты пристанешь.

Он закрывает стеклянную дверь. Слева еще одна, покрытая темным лаком; женщине кажется, что изнутри прильнуло любопытное ухо, легкий скрип – словно кто-то переминается с ноги на ногу. Какая-нибудь злобная старая карга: у кого еще могут быть кружевные занавески? Наверх ведет длинная разбитая лестница: гвоздями прибит ковер, редкозубые перила. Обои притворяются шпалерами – переплетенные лозы и розочки, когда-то розовые, а теперь цвета чая с молоком. Он осторожно обнимает ее, легко касается губами ее шеи, горла, но в губы не целует. Ее бьет дрожь.

Я легко смываюсь, шепчет он. Придешь домой – просто прими душ.

Не говори так, отвечает она тоже шепотом. Ты смеешься. Никогда не веришь, что я серьезно.

Достаточно серьезно, говорит он. Она обнимает его за талию, и они поднимаются по лестнице – чуть неуклюже, чуть тяжеловато: их тянут вниз тела. На полпути – круглое цветное окно: лиловые виноградные гроздья на небесной сини, умопомрачительно красные цветы – свет отбрасывает цветные блики на лица. На площадке второго этажа он вновь ее целует, теперь жестче; юбка скользит вверх по ее шелковистым ногам до конца чулок, его пальцы нащупывают резиновые пуговицы, он прижимает ее к стене. Она всегда носит пояс; снимать его – как свежевать тюленя.

Шляпка падает, ее руки обхватывают его шею, голова откидывается, тело выгибается, словно кто-то тянет ее за волосы. А волосы, освободившись от заколок, падают на плечи; он гладит эту светлую длинную волну, она будто пламя, мерцающий огонек перевернутой белой свечи. Но пламя не горит вниз.

Комната на третьем этаже – наверное, раньше в ней жила прислуга. Они входят, и он тут же закрывает дверь на цепочку. Комната маленькая, тесная и сумрачная; единственное окно чуть приоткрыто; жалюзи почти совсем опущены, тюль закреплен по бокам. Полуденное солнце бьется в жалюзи, окрашивает их золотом. Пахнет гнилью и еще мылом: в углу –

маленькая треугольная раковина, над ней пятнистое зеркало; под раковину втиснута пишущая машинка в черном жестком футляре. В оловянном стаканчике – его зубная щетка, не новая. Слишком личное. Она отводит глаза. Темный лакированный письменный стол прожжен сигаретами и покрыт кругляшами от мокрых стаканов; но в основном комнату занимает кровать – латунная, старомодная, стародевическая кровать, вся белая, кроме набалдашников. Наверняка скрипит. Эта мысль вгоняет в краску.

Она понимает, что он пытался привести постель в порядок – сменил простыни или хотя бы наволочку, расправил желто-зеленое шинелевое покрывало. Лучше бы он этого не делал: ее сердце сжимается от жалости, будто голодный крестьянин предложил ей последний кусок хлеба. А жалости к нему она сейчас не хочет. Не хочет видеть, что он уязвим. Это лишь ей позволено. Она кладет сумочку и перчатки на стол. Ей вдруг кажется, будто она пришла в гости. В светском смысле получается абсурд.

Прости, дворецкого нет. Хочешь выпить? Есть дешевое виски.

Да, если можно, говорит она. Бутылка стоит в верхнем ящике стола. Он достает бутылку, два стакана, наливает. Скажи когда.

Когда, спасибо.

Льда нет, но есть вода.

Ничего, отвечает она. Прислонясь к столу, залпом выпивает виски, закашливается, улыбается ему.

Все, как ты любишь, – быстро, сильно и на подъеме, говорит он. Садится на кровать со стаканом в руке. За любовь к этому. Он поднимает стакан. Без улыбки.

Ты сегодня необычайно груб.

Самозащита, говорит он.

Ты знаешь, что я люблю не *это*. Я люблю тебя. И понимаю разницу.

До какой-то степени. Или думаешь, что понимаешь. Спасает лицо.

Скажи, почему я сейчас не ухожу?

Он усмехается. Иди ко мне.

Он не говорит, что любит ее, хотя знает, что она этого ждет. Быть может, это его обезоружит, как признание вины.

Сначала сниму чулки. Они рвутся от одного твоего взгляда.

Как и ты, отвечает он. Оставь их. Иди же сюда.

Солнце сдвинулось; слева под жалюзи остался лишь светлый клин. За окнами громыкает и позвякивает трамвай. Трамваи, наверное, постоянно тут ходят. Откуда же тишина? Тишина и его дыхание, их дыхание, мучительно затаенное, чтобы не шуметь. Точнее, не слишком шуметь. Почему наслаждение звучит как боль? Будто кого-то ранили. Он рукой зажимает ей рот.

В комнате стемнело, но она видит лучше. На полу горбится покрывало; смятая простыня тканой лозой обвивает их тела; одинокая лампочка без абажура; кремовые обои с лиловыми фиалками, крошечными и глупыми, – бежевые пятна там, где протекла крыша. Цепочка на двери – совсем хрупкая. Толкнуть плечом, хорошенько пнуть. Что ей тогда делать? Она ощущает, как истончаются, леденеют стены. Они двое – рыбы в аквариуме.

Он закуривает две сигареты, одну дает ей. Они затягиваются. Свободной рукой он гладит ее тело, вбирает его пальцами. Думает, сколько еще у нее времени, но не спрашивает. Берет ее за запястье. У нее золотые часики. Он закрывает циферблат.

Ну, говорит он. Сказку на ночь?

Да, пожалуйста, просит она.

На чем мы остановились?

Ты отрезал языки бедным девушкам в подвенечных вуалях.

Ах да. Ты еще протестовала. Если тебе не по душе эта история, могу рассказать другую, но не обещаю, что она окажется цивилизованнее. Может, современнее. Вместо нескольких мертвых циклонов – акры вонючей грязи и сотни тысяч...

Оставь прежнюю, быстро говорит она. Ты же ее хотел рассказать.

Она тушит сигарету в коричневой стеклянной пепельнице и устраивается, прижавшись ухом к его груди. Ей нравится слушать его голос отсюда – будто слова рождаются не в горле, а в теле – гулом, глухим рокотом, зовом из-под земли. Точно кровь, что пульсирует у нее в сердце: слово, слово, слово.

«Мейл энд эмпайр», 5 декабря 1934 года

АПЛОДИСМЕНТЫ БЕННЕТТУ

Специально для «Мейл энд эмпайр»

Выступая вчера вечером перед членами Имперского клуба, мистер Ричард Гриффен, финансист из Торонто и президент «Королевского классического трикотажа», сдержанно похвалил премьер-министра Беннетта¹⁸ и резко отозвался о его оппонентах.

Упомянув воскресный шумный митинг в Мапл-Лиф-Гарденс в Торонто, в ходе которого 15 000 коммунистов устроили истерическую встречу своему вождю Тиму Баку¹⁹, осужденному за участие в заговоре мятежников, но условно освобожденному в субботу из Кингстонского исправительного дома в Портсмуте, мистер Гриффен выразил беспокойство по поводу правительственных «уступок» в связи с петицией, подписанной 200 000 «обманутых кровоточащих сердец». Политика «безжалостного железного каблука»²⁰, проводимая мистером Беннеттом, верна, подчеркнул мистер Гриффен, ибо тюремное заключение – единственный способ борьбы с подрывной деятельностью тех, кто плетет заговоры с целью сбросить законное правительство и конфисковать частную собственность.

Что касается десятков тысяч иммигрантов, высланных из страны согласно разделу 98²¹, в том числе депортированных в Германию и Италию, где они сразу попадут в лагерь для интернированных, то они пропагандировали деспотические режимы и теперь почувствуют их прелесть на собственной шкуре, заявил мистер Гриффен.

Перейдя к экономическим проблемам, он сказал: хотя уровень безработицы по-прежнему высок, что вызывает недовольство населения и на руку коммунистам и их сторонникам, наблюдаются утешительные симптомы. Мистер Гриффен выразил уверенность, что к весне Депрессия закончится. Пока же единственно правильное решение – придерживаться прежнего курса и дать системе возможность излечиться самостоятельно. Следует сопротивляться любой тенденции к мягкому социализму мистера Рузвельта,

¹⁸ Ричард Бедфорд Беннетт (1870–1947) – 11-й канадский премьер-министр (1930–1935).

¹⁹ Тим Бак (1891–1973) – деятель коммунистического и рабочего движения Канады, в 1921 г. выступил одним из основателей Коммунистической партии Канады, в 1921–1929 гг. – секретарь Лиги профсоюзного единства Канады. В 1932–1934 гг. был в тюрьме, где в 1933 г. по приказу властей на него было совершено покушение.

²⁰ Цитата из речи премьер-министра Беннетта, произнесенной в Торонто в 1932 г. и заработавшей ему прозвище Железный Каблук до самого конца политической карьеры. В речи Беннетт призывал «всякого мужчину и всякую женщину» обрушить «безжалостный железный каблук» на коммунистов.

²¹ Раздел 98 Уголовного кодекса Канады был принят в 1919 г. после Виннипегской общей забастовки. Он позволял заключать под стражу тех, кто подозревался в участии в незаконных ассоциациях, определенных в статье крайне смутно, и использовался для борьбы с инакомыслием.

поскольку он лишь ослабит больную экономику²². Участь безработных достойна сожаления, однако многие из них предпочитают бездеятельность, а против агитаторов и забастовщиков следует принимать самые жесткие меры.

Речь мистера Гриффена была встречена горячими аплодисментами.

²² В 1935 г. премьер-министр Беннетт, первоначально придерживавшийся этой точки зрения, попытался ввести в Канаде реформы, аналогичные «Новому курсу» американского президента (1933–1945) Франклина Делано Рузвельта (1882–1945), однако не преуспел, и в октябре 1935 г. его Консервативная партия проиграла выборы, поскольку общество за пять лет пребывания Беннетта на посту насытилось его бездеятельностью.

Слепой убийца: Посланец

Так вот. Скажем, темно. Все три солнца сели. Взошла парочка лун. В предгорьях бродят волки. Избранная девушка ждет своей очереди стать жертвой. В последний раз ей подали самые изысканные угощения, ее надушили и умастили благовониями; в ее честь пели гимны, возносили молитвы. И вот она возлежит на красно-золотом парчовом ложе, запертая в сокровеннейшем покое храма, где пахнет цветочными лепестками, фимиамом и душистыми специями, что обычно сыплют в гробы. Ее постель называется Ложем Одной Ночи, ибо ни одна девушка не проводила на нем две ночи подряд. А девушки, у которых еще не отрезали языки, называли его Ложем Беззвучных Слез.

В полночь к ней придет Владыка Подземного Мира – по слухам, в ржавых доспехах. В Подземном Мире раздирают и уничтожают: все души должны пройти его на пути в Страну Богов; особо грешные останутся в Подземном Мире навечно. Каждую храмовую деву в ночь накануне жертвоприношения посещал Владыка, ибо иначе душа ее никогда не успокоится и вместо Страны Богов она отправится в дикую стаю прекрасных нагих покойниц с лазурными волосами, пышными телами, рубиновыми устами и глазами, точно полные змей бездонные колодцы, – к тем, что рыщут среди древних разрушенных гробниц в пустынных горах Запада. Видишь, я их не забыл.

Ценю твою заботу.

Для тебя все, что угодно. Если что-нибудь захочешь, дай знать. Ну ладно. Как и другие народы, древние и нынешние цикрониты боялись девственниц, особенно мертвых. Обманутые женщины, умершие незамужними, обречены после смерти искать то, чего не получили при жизни. Днем они спят в руинах, а по ночам охотятся на неосторожных путешественников, особенно на молодых людей, имевших глупость отправиться в те места. Женщины набрасываются на них и высасывают из несчастных жизненную силу, превращая в послушных зомби, что удовлетворяют все чудовищные желания голых покойниц.

Бедняги юноши, говорит она. А спастись от этих злобных тварей можно?

Их можно убить копьём или забить камнями. Но их великое множество – все равно что сражаться с осьминогом: не успеешь оглянуться, а они уже тебя всего облепили. Кроме того, они гипнотизируют – мигом отключают волю. С этого и начинают. Одну видишь, и все – стоишь как вкопанный.

Могу себе представить. Еще виски?

Думаю, я переживу. Спасибо. Так вот, девушка – как бы ты ее назвала?

Не знаю. Тебе выбирать. Ты знаешь местность.

Я подумаю. Значит, лежит она вся во власти предчувствий на Ложе Одной Ночи. И не знает, что хуже – перерезанная глотка или ближайшие несколько часов. В храме все знают, что к девушкам приходит не Владыка Подземного Мира, а переодетый придворный. Как и все остальное в Сакиэль-Норне, эта привилегия продается, и, говорят, платят за нее огромные суммы – тайком, естественно. Деньги идут Верховной Жрице, корыстной, как и все, и неравнодушной к сапфирам. Она оправдывается, клянясь тратить деньги на благотворительность, и действительно порою выполняет обещание, если, конечно, не забывает. Девушки едва ли могут жаловаться на эту часть пытки, поскольку у них нет языков и письменных принадлежностей, да к тому же назавтра все они умирают. *Монетки с небес*, говорит Верховная Жрица, пересчитывая наличные.

Тем временем издалека к городу движется огромная орда грубых косматых варваров, что вознамерились захватить знаменитый Сакиэль-Норн, разграбить его и сжечь дотла. Они уже так расправились с несколькими городами на далеком Западе. Никто – то есть никто из цивили-

лизованных народов – не может объяснить причину их побед. Плохо одетые, плохо вооруженные варвары не умеют читать и не имеют хитроумных железных штуквин.

И более того, у них нет короля – только вождь. У него нет имени – он отказался от имени, став вождем, – только титул. Слугой Радости именуется он. Еще сторонники зовут его Мечом Всемогущего, Правым Кулаком Непобедимого, Чистильщиком Пороков, Защитником Добродетели и Справедливости. Никто не знает настоящей родины варваров, но говорят, что они пришли с северо-запада, где рождаются злые ветра. Враги называли их Народом Опустошения, но сами они величали себя Народом Радости.

Нынешний вождь имеет знаки благосклонности богов: родился в сорочке, ранен в ступню, а на лбу – звездообразная отметина. Он впадает в транс и общается с иным миром, если не знает, что делать дальше. Он пошел войной на Сакиэль-Норн, ибо такова воля богов – ее передал посланец.

Посланец явился в виде пламени со множеством глаз и огненными крыльями. Эти посланцы говорят мудреными притчами и принимают различные облики: горящих *фалков*, говорящих камней, шагающих цветов или птицеголовых людей. Или же выглядят как все. Странствующие в одиночку или вдвоем люди, слышущие ворами или чародеями, чужеземцы, что говорят на нескольких языках, и нищие на обочине чаще всего оказываются посланцами, считает Народ Опустошения; поэтому с ними надо обращаться особо осмотрительно – по крайней мере, пока не обнаружится их истинная сущность.

Если они божьи эмиссары, лучше всего поскорее их накормить, дать вина и по необходимости женщину, а потом внимательно выслушать послание и отпустить с миром. Самозванцев же следует забить камнями и забрать все их имущество. Не сомневайся, все странники, чародеи, чужаки и нищие, которых заносило в земли Народа Опустошения, заранее придумывали невразумительные притчи – *туманные слова* или *запутанный шелк*, вот как эти притчи назывались; вполне загадочные, пригодятся в самых разных случаях, по обстоятельствам. Путешествовать по стране Народа Радости, не зная ни одной загадки или рифмованной головоломки, означало обречь себя на верную смерть.

По словам пламени с глазами, Сакиэль-Норн необходимо разрушить из-за его роскоши, поклонения ложным богам и особенно – из-за отвратительного обычая приносить в жертву детей. Именно из-за него всех жителей города, в том числе рабов, детей и жертвенных дев, следовало зарубить мечами. Убивать тех, чья будущая смерть и вызвала резню, может, и несправедливо, однако Народу Радости важны не вина или невиновность, но испорченность или неиспорченность, а по их мнению, в испорченном городе все испорчено одинаково.

Дикая орда движется вперед, поднимая облако пыли; оно флагом плывет над ордою. Она еще далеко, и часовые не видят ее со стен Сакиэль-Норна. А те, кто мог предупредить горожан – пастухи, пасущие стада вдали от города, проезжие торговцы и так далее, пойманы и безжалостно изрублены на куски, за исключением тех, кто может оказаться божьим посланцем.

Слуга Радости едет впереди – его сердце чисто, брови насуплены, глаза горят. На плечах грубый кожаный плащ, на голове знак служения – красный конусообразный колпак. За ним его воины – в чем мать родила. Впереди бежит скот; падальщики рыщут позади, а наравне с воинами мчатся волки.

Тем временем среди ничего не подозревающих горожан зреет заговор против короля. Устраивают его, как обычно, несколько самых доверенных придворных. Они наняли искуснейшего слепого убийцу, юношу, что когда-то ткал ковры, потом служил в борделе, а после побега успел прославиться как самый ловкий и безжалостный наемный убийца. Икс его звали.

Почему Икс?

Людей вроде него всегда так зовут. Зачем им настоящие имена? Имена могут выдать. Кроме того, «икс» – рентгеновские лучи; если ты Икс, можешь пройти сквозь прочные стены или видеть, что таится под женской одеждой.

Но Икс слепой.

Тем лучше. Он видит сокрытое женской одеждой – оно пред внутренним мелькает взором; вот счастье одиноких дум.

Бедный Вордсворт!²³ Не богохульствуй, восхищается она.

Не могу! Богохульствую с детства.

Икс должен проникнуть в Храм Пяти Лун, найти дверь в покои, где заперта завтрашняя жертвенная дева, и перерезать горло стражнику. Затем убить девушку, спрятать тело под легендарным Ложем Одной Ночи и надеть свадебный наряд девы. Но сделать это нужно после визита придворного, что притворяется Владыкой Подземного Мира, – а этот придворный как раз и есть глава дворцового заговора, – он придет, получит то, за что заплатил, и уйдет. Придворный отдал большие деньги и не хочет их терять. Ему не нужна мертвая девушка, пусть еще теплая. Ему нужно, чтобы сердце билось.

Но случился сбой. Перепутали время, и теперь дело обстоит так, что первым в покои войдет слепой убийца.

Как ужасно, говорит она. У тебя извращенное воображение.

Он проводит пальцем по ее голой руке. Хочешь слушать дальше? Обычно я это делаю за деньги. А ты все получаешь бесплатно, так что будь благодарна. Ты ведь не знаешь, что дальше будет. Я просто закручиваю сюжет.

По-моему, он и так крепко закручен.

Крепко закрученные сюжеты – мой конек. Хочешь послабее – обращайся в другое место.

Ладно. Продолжай.

Переодевшись в одежду мертвой девушки, слепой убийца должен дожидаться утра, позволить служителям подвести себя к алтарю и там в момент жертвоприношения заколоть короля. Будто бы сама Богиня его сразила. Это послужит сигналом для тщательно подготовленного переворота.

Кое-кто из подкупленной черни инсценирует бунт. После этого события пойдут веками освященным чередом. Храмовых жриц возьмут под стражу – якобы для их безопасности, но на самом деле, чтобы заставить их поддержать претензии заговорщиков на духовную власть. Преданных королю знатных горожан убьют на месте, их сыновей тоже, чтобы потом не мстили за отцов. Дочерей выдадут замуж за победителей, которые таким образом законно обретут богатства побежденных; а жен, изнеженных и, несомненно, развратных, отдадут на потеху толпе. Когда великие падают с пьедесталов, приятно вытирать о них ноги.

Слепой убийца в суматохе ускользнет, а потом вернется позже за второй половиной щедрого гонорара. Но заговорщики намерены тут же его зарезать; не годится, если заговор провалится, а его поймают – он может заговорить. Его труп надежно спрячут – все знают, что слепые убийцы работают только по найму, и со временем может встать вопрос: кто же его нанял? Одно дело – устроить убийство короля, и совсем другое – быть пойманным.

Девушка, чье имя нам до сих пор неизвестно, лежит на парчовом ложе, ожидая фальшивого Владыку Подземного Мира и безмолвно прощаясь с жизнью. Слепой убийца крадется по коридору в сером одеянии храмовой служанки. Он у дверей. Страж – женщина: мужчина не может прислуживать в Храме. Из-под серой вуали убийца шепчет, что принес послание от Верховной Жрицы, предназначенное только для ее ушей. Женщина наклоняется – один удар кинжала, молния милосердных богов. Невидящие руки мгновенно нащупывают ключи.

²³ Уильям Вордсворт (1770–1850) – английский поэт, прозаик и драматург. Цитата из стихотворения «Нарциссы» (1804).

Ключ поворачивается в замке. Девушка слышит. И садится на ложе.

Он замолкает. Прислушивается к чему-то на улице.

Она приподнимается на локте. Что с тобой, спрашивает она. Просто кто-то машину закрыл.

Окажи мне услугу, просит он. Будь хорошей девочкой, надень рубашечку и посмотри в окно.

А если меня увидят, говорит она. День все-таки.

Ничего. Тебя не узнают. Просто увидят женщину в комбинации – обычное зрелище в этих местах. Подумают, что ты...

Женщина легкого поведения, спрашивает она беспечно. Ты тоже так думаешь?

Нет, девушка, потерявшая девственность. Это не одно и то же.

Очень любезно с твоей стороны.

Иногда я худший свой враг.

Если бы не ты, я потеряла бы гораздо больше. Она подходит к окну, поднимает жалюзи. На ней зябко-зеленая комбинация – как прибрежный лед, битый лед.

Он ее не удержит, не сможет удерживать долго. Она растает, уплывет, она выскользнет из рук.

Ну что там, спрашивает он.

Ничего особенного.

Возвращайся в постель.

Но она глядит в зеркало над раковиной, видит себя. Нагое лицо, растрепанные волосы. Смотрит на золотые часики. Господи, какой ужас, говорит она. Надо бежать.

«Мейл энд эмпайр», 15 декабря 1934 года

АРМИЯ ПОДАВЛЯЕТ СТАЧЕЧНЫЕ БЕСПОРЯДКИ

Порт-Тикондерога, Онтарио

Новые акты насилия отмечены вчера в Порт-Тикондероге; это продолжение недельных беспорядков, связанных с закрытием фабрик «Чейз и сыновья», забастовкой и локаут. Полиции не удалось справиться с превосходящими ее силами забастовщиков, власти потребовали выслать подкрепление, и премьер-министр распорядился, чтобы в интересах безопасности населения в Порт-Тикондерогу был отправлен Королевский Канадский полк, который прибыл туда в два часа пополудни. По имеющимся данным, сейчас ситуация в городе стабилизировалась.

До прибытия полка митинг забастовщиков вышел из-под контроля. На главной улице в магазинах были разбиты витрины и разграблены товары. Владельцы магазинов, пытавшиеся защищать свою собственность, в настоящее время находятся в больнице, где лечатся от ушибов. По слухам, один полицейский, получив сотрясение мозга от удара кирпичом по голове, находится в очень тяжелом состоянии. Расследуются причины пожара, вспыхнувшего на Первой фабрике рано утром и потушенного городскими пожарными; подозревают поджог. Ночного сторожа, мистера Эла Дэвидсона, вытащили из огня уже мертвым: он скончался от удара по голове и отравления дымом. Виновники этого преступления активно разыскиваются, уже имеются подозреваемые.

Редактор городской газеты мистер Элвуд Р. Мюррей заявил, что беспорядки – результат спаивания участников митинга агитаторами со

стороны. По его словам, местные рабочие – законопослушные граждане, и мятеж могла вызвать только провокация.

Нам не удалось получить комментарии у президента «Чейз и сыновья» мистера Норвала Чейза.

Слепой убийца: Кони ночи

На этой неделе – другой дом, другая комната. Хотя бы есть место между дверью и кроватью. Мексиканские занавески в желтую, синюю и красную полосу; кровать с изголовьем из птичьего глаза²⁴; малиновое колючее шерстяное одеяло – сейчас валяется на полу. На стене испанская афиша боя быков. Кожаное темно-бордовое кресло; письменный стол из мореного дуба; стаканчик с аккуратно заточенными карандашами; подставка для трубок. Густой запах табака.

Книжная полка: Оден, Веблен, Шпенглер, Стейнбек, Дос Пассос²⁵. На видном месте «Тропик Рака» – должно быть, контрабандный. «Саламбо», «Странный беглец», «Сумерки идолов», «Прощай, оружие»²⁶. Барбюс, Монтерлан²⁷. *Hammurabis Gezet: Juristische Erlauterung*. Интеллектуал этот новый друг, думает она. И денег побольше. Значит, не так надежен. На вешалке три шляпы разных фасонов и кашемировый халат из шотландки.

Ты что-нибудь из этого читал, спрашивает она, когда они заходят в комнату и он запирает дверь. Она снимает шляпку и перчатки.

Кое-что, отвечает он, не уточняя. Повернись. Он вынимает листик из ее волос.

Смотри, уже падают.

Она мысленно спрашивает себя, в курсе ли друг. Не просто насчет женщины – им надо было как-то договориться, чтобы друг не пришел не вовремя, мужчины так делают, – а о том, кто она такая. Ее имя и все прочее. Она надеется, что нет. Судя по книгам и особенно по афише, друг из принципа был бы настроен против нее.

Сегодня он менее порывист, задумчивее. Ему хочется медлить, сдерживаться. Вглядываться.

Почему ты так смотришь?

Запоминаю.

Зачем? И она рукой закрывает ему глаза. Ей не нравится, когда ее так изучают. Будто щупают.

Чтобы ты осталась со мной, говорит он. Когда я уеду.

Не надо. Не порть сегодняшний день.

Куй железо, пока горячо, говорит он. Таков твой девиз?

Скорее уж – мотовство до нужды доведет, отвечает она. И тогда он смеется.

Она обмоталась простыней, подоткнула ее на груди; лежит, прижавшись к нему; ноги прячутся в длинном белом изгибе русалочьего хвоста. Он заложил руки за голову, смотрит в потолок. Она дает ему отпить из своего стакана – на этот раз водка с водой. Дешевле, чем

²⁴ Ценный сорт кленовой древесины.

²⁵ Уистан Хью Оден (1907–1973) – англо-американский поэт, придерживался вполне левых взглядов. Торстейн Бунде Веблен (1857–1929) – американский экономист и социолог, один из основоположников институциональной экономики; среди его работ – актуальные по сей день «Теория праздного класса» (1899) и «Теория делового предприятия» (1904). Освальд Шпенглер (1880–1936) – немецкий философ-идеалист и культуролог; ключевая работа – «Закат Европы» (1918, 1922). Джон Эрнст Стейнбек (1902–1968) – американский писатель, в 1930-е гг. много писал о социальных проблемах. Джон Дос Пассос (1896–1970) – американский писатель, до войны в Испании примыкал к левым кругам.

²⁶ «Саламбо» (1862) – роман классика французской литературы Гюстава Флобера (1821–1880) о древнем Карфагене в период Восстания наемников 240–238 гг. до н. э. «Странный беглец» (1928) – первый роман канадского писателя и журналиста Морли Каллагана (1903–1990) – написанная от первого лица история не склонного к рефлексии и довольно несчастного бутлегера в Торонто. «Сумерки идолов, или Как философствуют молотом» (1888) – работа немецкого философа Фридриха Ницше (1844–1900). «Прощай, оружие» (1929) – роман американского писателя Эрнеста Хемингуэя (1899–1961) о Первой мировой войне.

²⁷ Анри Барбюс (1873–1935) – французский писатель и общественный деятель, большой поклонник Советского Союза. Анри де Монтерлан (1896–1972) – французский писатель и драматург.

виски. Она все время собирается захватить из дома что-нибудь приличное – что пить можно, – но каждый раз забывает.

Ну, рассказывай, просит она.

Мне нужно вдохновение, отвечает он.

Чем тебя вдохновить? Я могу остаться до пяти.

Тогда подлинное вдохновение отложим. Нужно собраться с силами. Дай мне полчаса.

O lente, lente currite noctis equi!

Что?

Медленней, медленней, о кони ночи²⁸. Это Овидий, говорит она. На латыни звучит как медленный галоп. Неловко вышло: она будто хвастается. Никогда не поймешь, что он знает, а что нет. Иногда притворяется, что не знает, она давай объяснять, и тут оказывается, что он знает, и притом давно. То говори, то молчи.

Странная ты. Почему кони ночи?

Они тащат колесницу Времени. А герой у возлюбленной. Хочет, чтобы ночь продлилась, чтобы дольше оставаться.

Зачем, лениво спрашивает он. Пяти минут не хватит? Заняться больше нечем?

Она садится. Ты устал? Я тебя утомила? Мне уйти?

Ложись. Никуда ты не пойдешь.

Лучше бы он не разговаривал, словно ковбой из вестерна. Он пытается взять верх. Тем не менее она ложится, обнимает его.

Положите руку вот сюда, мэм. Вот так. Прекрасно. Он закрывает глаза. Возлюбленная, говорит он. Чудное слово! Викторианское. Мне следует целовать тебе изящную туфельку или потчевать тебя шоколадом.

Может, я чудная. Может, я викторианка. Тогда любовница. Или юбка. Так современнее? По справедливости?

Конечно. Но я предпочту возлюбленную. Справедливости не бывает же, правда?

Правда, говорит она. Не бывает. А теперь рассказывай.

Под вечер, продолжает он, Народ Радости становится лагерем на расстоянии дневного перехода от города. Рабыни – пленницы, захваченные в предыдущих сражениях, – разливают алый ранг из кожаных фляг, где он бродит; раболепствуют, кланяются, прислуживают, таскают чаны с жестким недоваренным мясом угнанных *фалков*. Законные жены сидят в тени, глаза их сверкают в темных прорезях покрывал, подмечают бесстыдство. Сегодня им спать одним, но потом они смогут отхлестать пленниц за неловкость или неуважение – и уж не преминут.

Мужчины в кожаных плащах сидят на корточках возле костерков, ужинают, тихо переговариваются. Они невеселы. Завтра или послезавтра, в зависимости от их скорости и бдительности врага, придется сражаться, и на этот раз они могут не победить. Посланец с яростными глазами, что говорил с Кулаком Непобедимого, обещал победу, если они останутся благочестивыми и послушными, смелыми и хитроумными, но в таких делах всегда слишком много «если».

В случае поражения их убьют вместе с женщинами и детьми. Никто не ждет пощады. В случае победы убивать придется им, а это менее приятно, чем принято считать. Убить нужно всех – таков приказ. Ни одного живого мальчика – иначе он вырастет, мечтая отомстить за убитого отца. И ни одной девочки: она может развратить Народ Радости. Раньше они из побежденных городов привозили молодых пленниц и распределяли их между воинами: по одной, по две, по три – в зависимости от заслуг и удали, но в этот раз божий посланец сказал: хорошенького понемножку.

²⁸ Цитата из «Любовных элегий» (XIII) Публия Овидия Назона.

Резня будет утомительна и шумна. Резня такого масштаба требует напряжения сил и разлагает; провести ее надо очень тщательно, или Народу Радости не избежать бед. У Всемогущего есть способы настаивать на букве закона.

Лошади привязаны в стороне. Их мало: одни вожди ездят на этих стройных, норовистых животных с заскорузлыми губами, длинными скорбными мордами и нежными трусливыми глазами. Они не виноваты – их заставили.

Тот, у кого есть лошадь, может пинать ее и бить, но не смеет зарезать и съесть, ибо давным-давно посланец Всемогущего явился народу в облике первого коня. Говорят, что лошади помнят и гордятся этим. И потому позволяют себя седлать лишь вождям. Во всяком случае, так принято объяснять.

«Мейфэр», май 1935 года
СВЕТСКИЕ СПЛЕТНИ ТОРОНТО
Йорк

Весна шаловливо началась с апрельского события, о котором возвестила внушительная вереница лимузинов с шоферами, что свозили именитых гостей на один из самых любопытных приемов сезона; это очаровательное мероприятие состоялось 6 апреля в тюдоровском «Роуздейле» миссис Уинифред Гриффен Прайор в честь мисс Айрис Чейз из Порт-Тикондероги, Онтарио. Мисс Чейз – дочь капитана Норвала Чейза и внучка покойной миссис Бенджамин Монфор Чейз из Монреалья. Она невеста брата миссис Гриффен Прайор, мистера Ричарда Гриффена, долгое время считавшегося одним из самых завидных женихов нашей провинции; их свадьба состоится в мае и обещает стать незабываемым событием года.

Дебютантки прошлого сезона и их матери с нетерпением ждали появления юной невесты, которая была очаровательна в скромном бежевом креповом костюме от Шиапарелли с узкой юбкой и длинной баской, отделанной черным бархатом и гагатом. Миссис Прайор принимала гостей в изящном платье от Шанель цвета «пепел розы» – юбка с драпировкой и мелкий жемчуг на лифе. В белых решетчатых беседках гостей окружали белые нарциссы и горящие свечи в серебряных канделябрах с гирляндами искусственного черного мускатного винограда, декорированных серебристыми лентами. На приеме также присутствовала сестра мисс Чейз и подруга невесты, мисс Лора Чейз, в зеленом вельветовом платье, отделанном атласом.

Из высоких гостей были замечены заместитель губернатора с женой, миссис Герберт А. Брюс; полковник Р. И. Итон с женой и дочерью, мисс Маргарет Итон; почтенный У. Д. Росс с женой и дочерьми – мисс Сьюзен Росс и мисс Изобел Росс, миссис А. Л. Элсуорт с двумя дочерьми – миссис Беверли Балмер и мисс Элейн Элсуорт, мисс Джоселин Бун и мисс Дафна Бун, а также мистер Грант Пеплер с супругой.

Слепой убийца: Бронзовый колокол

Полночь. В городе Сакиэль-Норн звонит единственный бронзовый колокол – отмечает момент, когда Поверженный Бог, ночное воплощение Бога Трех Солнц, достигает низшей точки падения в темноту, где после яростной схватки его разорвет в клочки Владыка Подземного Мира и его приспешники – живущие в глубине мертвые воины. Богиня соберет Поверженного по частям, вернет к жизни, он восстановит силу и здоровье и на рассвете вновь явится миру, возрожденный, полный света.

Хотя Поверженный Бог – популярный культ, жители больше не верят в эту легенду. И все-таки женщины лепят Поверженного из глины, а в самую темную ночь года их мужа разбивают фигурку вдребезги. И на следующее утро женщины вновь ее лепят. Для детей пекут съедобных сладких божков; дети с их жадными ротиками – как само будущее, что, подобно времени, пожирает все живое.

Король сидит в одиночестве в самой высокой башне роскошного дворца, откуда наблюдает за звездами, выискивая знаки и знамения на следующую неделю. Тканую платиновую маску он снял: никого нет, и чувства можно не скрывать. Можно улыбаться или хмуриться, как обычный йгнирод. Какое облегчение!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.